ЭРВЕ БАЗЕН



Семья Резо

семейная библиотека

Крик совы
Эрве Базен

Аннотация
Эрве Базен. КРИК СОВЫ
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX

XXI
XXII
XXIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXIII

Аннотация

Трилогия французского писателя Эрве Базена («Змея в кулаке», «Смерть лошадки», «Крик совы») рассказывает о нескольких поколениях семьи Резо, потомков старинного дворянского рода, о необычных взаимоотношениях между членами этой семьи. Действие романа происходит в 60-70-е годы XX века на юге Франции.

Эрве Базен
КРИК СОВЫ

I

Пронзительный ноябрьский ветер завывает за круглым зарешеченным окошком ванной, запотевшие выпуклые стекла которого непрозрачны, как церковные витражи. Водопроводные трубы дрожат на стыках; когда в кухне закрывают кран и вода вдруг устремляется к ванной, они резко чихают, и тоненькая струйка, льющаяся на меня сквозь сетку душа, забитую накипью, превращается в горячее водяное копье, больно колющее мою уже лысеющую голову.

— Ты кончил? — кричит через дверь Саломея. — Теперь можно мне?

Хотя встал я поздно, потому что вчера поздно засиделся за работой, я все-таки слышал шум душа: она принимает его каждое утро, чтобы придать еще больше упругости своему маленькому телу, с нежными бедрами и трепетной грудью, которые угадываются под платьем. Сейчас, должно быть, ей осталось только причесаться, и можно бежать к лодке.

— Пять минут — и я готов, детка!

Интересно, почему это я, не стыдясь, пред-

ставляю себе Саломею в костюме Евы? Ведь не осмелился бы я вообразить в таком виде Бландину, ее сестру! Ну ладно! Закроем кран, возьмем мохнатое полотенце, разотрем гусиную кожу, на груди волосы кое-где уже тронуты сединой. Потом встанем на весы с увеличительным стеклом над шкалой — они всегда здесь, под окошком; на них уже многие годы проверяется вес всех членов семейства, точно так же, как антропометром, в форме жирафы, прибитым напротив к выкрашенной эмалью стенке, измеряется их рост. Хотя я щелкнул по регулятору, чтобы стрелка перескочила на ноль или даже чуть левее, потому что весы эти склонны к преувеличению, я тяну неполных семьдесят пять. Для мужчины ростом в метр семьдесят два это не катастрофа. Правда, если память мне не изменяет, в пятьдесят девятом я запретил себе весить больше семидесяти четырех, а в пятьдесят четвертом — больше семидесяти трех. Но вот о чем я сейчас подумал: у меня мокрые волосы и на руке часы, это тоже надо учесть. Другая мысль, промелькнувшая без видимой причины: Бертиль, которая так старалась изгнать из дома все, что напоминало о ее «предшественнице», конечно, вышвырнула бы и эти весы, если бы знала, что когда-то на них

легко вскакивала Моника с нашим сынишкой на руках.

— Мой вес никогда не меняется, ни на один грамм, — говорила она. — Чтобы узнать, сколько прибавил Жаннэ, достаточно произвести вычитание.

Тыльной стороной руки я протираю запотевшее стекло. В те годы, когда Моника, малыш и я, тесно прижавшись друг к другу, на мгновение удерживались на узкой площадке весов и, проявляя чудеса эквилибристики, чуть не сворачивая себе шею, еще умудрялись прочесть у самых своих ног приговор стрелки, — в те годы мы втроем тянули не более ста. Протираю другое стекло. Опасаться мне нечего: окно слишком высоко, снизу можно увидеть только мою голую грудь. Впрочем, я уже одеваюсь, глядя на разлившуюся Марну: ее илистые воды, поднявшиеся от проливного дождя, текут широким потоком с востока на запад под низкими, тяжелыми облаками, бегущими в обратном направлении. Вода затопила подвал, и там теперь танцуют всплывшие винные бочки; она затопила гараж — позавчера я едва успел вывести оттуда «ситроен». Сегодня утром она уже хлынула через садовую ограду, и теперь там, у стены, скапливаются пустые бидоны и пластмас-

совые бутылки. Ей тесно под арками моста Гурнэ, она откатывается назад, добирается до деревьев на набережной, так что теперь кажется, будто они растут прямо из Марны. Вода, продвигаясь все вперед, штурмует параллельные улицы, впадая в люки канализационных труб, затапливая сточные канавки, потом мостовую, тротуар, и в конце концов подступает к самым дверям, она врывается в парки; по тому, насколько погружен в воду бордюр из самшита, сразу заметно, где повышается уровень почвы. Саломея ждет… Ничего, успеет! Я не могу отказать себе в удовольствии открыть окно и потянуть носом воздух. Для меня, почти всю жизнь прожившего у реки, это одно из самых цепких воспоминаний: терпкий запах тины, перегнивших листьев в сочетании с мощным шумом воды, взбаламученной ливнем и бьющейся о тысячи преград, кипенье водоворотов, извергающих из глубины клочья грязной пены, которая повисает на изгородях из бересклета, на остриях кольев. В «Хвалебном» раз или два в год, обычно после сильных мартовских дождей (в ноябре половодье бывает реже), Омэ, спущенная где-то в верховьях, около Верна, каким-нибудь неведомым смотрителем шлюзов, когда уровень воды поднимался настолько, что это было

опасным для рудников, внезапно подкатывала к нам, меньше чем за час выходила из берегов и, широко разливаясь по лугам, размывала свежие коровьи лепешки, топила кузнечиков и кротов, заставляла ворон и сорок уподобляться чайкам и на лету хватать плывущую падаль, а нас, мальчишек, убираться со своими флотилиями поближе к поросшим травой склонам, на которых стояли фермы.

Но вот слышится скрип, грохот железа, призывные удары багра. Это лодка пожарников, выполняя спасательную службу, объезжает затопленную половодьем набережную, развозит детей в школу и доставляет хозяек на рынок; она высаживает их на холме у моста, а потом снова забирает — точного расписания у нее нет. Глядя поверх кустов бирючины, я вижу в ней полдюжины мокрых зонтиков. На носу здоровенный парень с выбивающейся из-под каски рыжей гривой тянет за веревки, привязанные к садовой решетке, чтобы быстрее подогнать лодку к берегу, а главное, чтобы ее не повело к середине реки, не понесло по течению и не разбило об устои моста. На корме стоит новоиспеченный паромщик. Хотя у него наивная румяная физиономия, он ловко орудует багром и во всю мочь свистит в лоцман-

ский свисток, оповещая прибрежных жителей.

— Дом двадцать девять! Двадцать девять! — кричит рыжий.

Он дает два свистка, потом еще девять, и в окне второго этажа, к которому приставлена лестница, появляется мадам Сотраль, наша соседка. Первый этаж ее дома, почти на уровне земли, затоплен. Похоже, что там плавает буфет, со страшным грохотом перевернувшийся среди ночи вместе со всей посудой. Какой-то мальчуган взбирается по лестнице, чтобы передать мадам Сотраль почту, и я узнаю… своего собственного сына — это Обэн, которого мать уже час назад послала в булочную: сегодня четверг — свободный от занятий день, и она не хочет, чтобы он болтался без дела. Добравшись до предпоследней перекладины, он передает соседке также сумку с провизией. Мадам Сотраль проверяет ее содержимое, берет сдачу и пересчитывает мелочь. Потом Обэн, никогда не упускающий случая немного подработать, ловит на лету брошенную ему монету, соскальзывает вниз и, подхваченный соседом из дома 35, мсье Галюшем, пенсионером, которого нетрудно узнать по совершенно лысому черепу, исчезает среди зонтиков. Перегруженная лодка снова пускается в плаванье.

— Тридцать один! — визжит рыжий.

— Ну вот и лодка. Ничего не поделаешь! Придется бежать непричесанной, — кричит Саломея, и я уже слышу, как она, стуча высокими каблучками, сбегает с лестницы.

Закроем окно. Обэн наверняка сообразит, как доставить нам почту, а Саломее, которая, конечно, бежит на свидание со своим дружком Гонзаго, вовсе не обязательно поправлять у зеркала прическу, ведь он все равно ее растреплет. Уже открывая дверь ванной, все же бросаю последний взгляд в окно, прежде чем направиться к себе в кабинет. Лодка сворачивает в наши широко распахнутые ворота (иначе их снесло бы напором воды), за три взмаха багром пересекает лужайку, скрытую под метровым слоем желтой жижи, и стукается о пятую ступеньку крыльца, еще не совсем затопленную. Обэн, прыгнув на нее из лодки, видимо, забрызгал пассажиров, о чем можно судить по негодующим восклицаниям дамы в черном (кто она, определить трудно, потому что я смотрю сверху, а она все еще держит над собой огромный черный зонт). Но голос, голос ее меня тревожит:

— Ах ты бесенок! Не можешь поосторожнее, что ли? — И сразу же: — Подождите, я тоже здесь

выйду.

Тут я снова поспешно открываю окно, нагибаюсь, чтобы лучше видеть, лучше слышать, лучше осознать невероятное. Нет, мне не почудилось. Этот голос, перешедший на верхнюю октаву, как у всех старых дам, немного тугих на ухо и потому говорящих по-актерски, громче обычного, — голос сохранил тот же тембр, тот же повелительный тон, и Саломее, которая как раз появилась на террасе и бежит, на ходу застегивая свой прозрачный плащ, не придется сесть в лодку:

— Нет, девочка, нечего убегать, раз я высаживаюсь. Ведь это случается не каждый день.

Это *Она*! Я сразу узнал кольцо на безымянном пальце морщинистой руки, которая держит Саломею за плечо, — на этот самый бриллиант в лапках мой отец раскошелился еще с полвека назад… Это наша старая Психимора, иначе говоря, наша матушка, еще иначе — мадам Резо, тиран моей юности! Я чувствую, как у меня сводит желудок. Потом быстро прикидываю про себя: шесть лет с Моникой, восемнадцать с Бертиль — значит, прошло двадцать четыре года, половина моей жизни, с тех пор как я ее видел в последний раз, эту милую даму, которой давно перевалило

за семьдесят… Применив способ, строжайше запрещенный детям, я в несколько прыжков с грохотом сбежал по ступенькам, отделявшим меня от первого этажа. И вот я уже внизу. Тут я сталкиваюсь нос к носу с моей женой, выходящей из кухни, и с Бландиной, которая поднимается из затопленного подвала, держа в руке складной метр, в то время как Обэн, с двумя батонами под мышкой, выбегает из столовой.

— На два сантиметра меньше — вода понемножку спадает, — объявляет Бландина; она явно не в курсе того, что произошло.

— Ты опять обгрыз! — возмущается Бертиль, беря у Обэна батоны, оба обкусанные.

— Тебя спрашивает какая-то старуха, она в гостиной, — бросает мне Обэн.

— Визит поутру, во время половодья! — восклицает Бландина.

— Это ваша бабушка Резо.

Мой ответ произвел впечатление. Все они недоверчиво смотрят на меня. Для них реальна только бабушка Дару, владелица кондитерской, реальна, как сто килограммов ее веса. Она монополизировала здесь роль прародительницы. Существование другой — во всем ей противоположной, как черное и белое, как уксус и сахар, — представля-

лось до сих пор чем-то не вполне реальным. Судя по слухам, она царила одна в тридцати ледяных комнатах обветшалого дома — мои дети никогда в нем не были, но однажды видели его издали, с дороги, во время каникул, когда я по их просьбе сделал крюк и, прежде чем направиться в Порник, проехал на малой скорости вдоль парка. Но бабушка Резо существовала всегда — просто она невидима в силу своей сущности. Потому что отказалась от своего потомства. Для моих детей это какая-то провинциальная Гофолия[1], хотя Гофолия обычно не покидает Ветхого завета, чтобы посетить Новый, разве что в театре. Мне приходится повторить:

— Уверяю вас, это моя мать. Я видел в окно, как она приехала.

— Долго же она собиралась! — говорит Бертиль.

Из приличия она снимает передник — не будем возражать! — и ворчит:

— Явиться вдруг, без предупреждения! Значит, она уже признает, что я существую.

---

[1] Примечания: 1

*Гофолия (*библ.*) — царица Иудейского царства, жена Иорама. Узнав о смерти своего брата и своего сына, стала, в свою очередь, казнить потомков Давида во всей Иудее; также пыталась уничтожить «все царское племя дома Иудина». (*здесь *и далее звездочкой отмечены примечания верстальщика)*

Но глаза Бертиль блестят от любопытства. Она взмахивает правой рукой, а это у нее означает: «Ну, давай же приосанимся, нечего робеть». Она, решительно открывает дверь и входит в гостиную, выставив вперед грудь. Гостья, очевидно, уже представилась Саломее, и та успела усадить ее в кресло. Невозмутимая — впрочем, это относится и к нашей дочери, — госпожа матушка сидит совершенно прямо; когда мы входим, она вытягивает шею, чтобы взглянуть на нас. Можно подумать, что она здесь хозяйка. Деланная улыбка не в состоянии скрыть за наплывом морщинистых век зеленый блеск ее глаз, которые смотрят скорее весело и заинтересованно, нежели агрессивно. Дряблые складки кожи висят у нее под подбородком, лицо все в мелких трещинах, словно старый глиняный горшок, она сильно постарела, но не изменилась. Напротив! Торчащее, словно гриб среди белесого мха редких волос, ухо, нос крючком, резко выступающий подбородок, выделенный двумя глубокими складками, идущими от уголков рта, все вместе — карикатура на прежнюю мадам Резо, что еще больше подчеркивается надменной небрежностью в одежде: позеленевшее, когда-то черное пальто, кое-как починенная ручка у сумки и бриллиант,

сверкающий хоть и на грязной руке, но способный тем не менее внушить иным насмешникам уважение к семьям, где скупость неотделима от респектабельной строгости.

— Вот так сюрприз, матушка! — восклицает Бертиль, напирая на слово «матушка», и, не стесняясь, косится в сторону огромного черного зонта, вокруг которого у стены уже образовалась небольшая лужица.

— Мне очень жаль, дочь моя, — отвечает мадам Резо, напирая на слово «дочь». — Я вижу, что своим зонтиком испортила вам паркет… Но я счастлива, что нашла детей в таком прекрасном виде.

Добрая старая бабуля, которая говорит о здоровье внучат так, словно только и делает, что печется об этих дорогих крошках, а ведь она их еще и не знает, несмотря на то что старшенький уже совсем взрослый, вот-вот вернется с военной службы.

— А как твоя печень? — продолжает мадам Резо, обращаясь ко мне. — Приступы больше не повторяются? Заметь: их можно было предвидеть — ведь желчный пузырь ты унаследовал от меня.

Намек на недавно перенесенную мною опера-

цию совершенно ясен: он сразу погружает меня в атмосферу клана, где всегда считалось хорошим тоном выражаться недомолвками. Понимать же надо так: «Я всегда была в курсе всех твоих дел». А из этого вытекает по меньшей мере три следствия: 1) «у меня есть свои осведомители»; 2) «значит, я не переставала интересоваться тобой»; 3) «ты один виноват в том, что мы так долго не виделись». Я улыбаюсь — этого она и добивалась, и, уверенная в том, что ее поняли, мадам Резо может теперь добавить:

— Ну и погода! Я уж думала, что никогда не доберусь.

Это в свою очередь означает: «Доказательством того, что все произошло по твоей вине, мой мальчик, служит тот факт, что я явилась сюда наперекор стихиям, что я взяла на себя инициативу и всего через каких-нибудь два десятилетия принесла тебе прощение и весть об окончании той давнишней распри, которую я всячески старалась замять, тогда как ты ее скандально раздувал». Еще час назад я думал, что никогда ее не увижу. Еще час назад, если бы кто-нибудь описал мне эту сцену завуалированного примирения, я утверждал бы, что такого не может быть. Впрочем, найдено было простейшее решение: достаточно

сделать вид, будто ничего не произошло, будто все всегда шло нормально. И представьте, это подействовало! Все уже смотрят на меня удивленными глазами: «Да неужто она и впрямь фея Карабос[2], злая богиня-разрушительница? Уж не выдумка ли все, что о ней рассказывают?» Вы наверняка на это рассчитывали, матушка, а вдобавок еще и надеялись, что здесь, в самом сердце вражеской крепости, у вас найдется сообщник. Ну конечно же, в моем лице! Окруженный своими детьми, разве я не окажусь в одном с вами лагере, разве могу я быть непричастным к чему-либо, к чему причастны вы? Не потому ли я сейчас так ощущаю свой пуп, через который уж это несомненно — я был с вами связан? Трудно остаться равнодушным, вновь оказавшись перед существом, жизнь которого — источник твоей собственной жизни — не интересовала тебя четверть века, и гордиться этим тебе не приходится. Но почему вы так поздно спрятали в карман вашу гордость? Почему покинули ваш заросший терновником Кранэ?

Тем временем мадам Резо встала, чтобы приложиться к невестке, потом поочередно к каждому

---

[2] Примечания: 2

*Карабос — злая и страшная колдунья из сказки «Спящая красавица».

из внуков, потом ко мне.

— Четверо! — посмеивается она. — А у брата твоего — десять! Как же вы кляли свое детство! А теперь, глядишь, у самих столько отпрысков…

Одна только Саломея поцеловала ее в ответ — сперва в правую щеку, потом в левую, как любят целоваться в семье Дару. Саломея ведет себя всегда неожиданно. Впрочем, и Бертиль тоже. Я-то думал, она надуется, будет держаться натянуто. А она покоряет, рассыпаясь в любезностях:

— Вы останетесь завтракать, матушка?

— К сожалению, нет, мне нужно быть в Париже к двум часам. У меня сейчас много хлопот с прабабушкой ваших детей — мадам Плювиньек. Я приехала только предупредить вашего мужа…

Последняя фраза адресована мне. Прежде, если кто-нибудь умирал, меня никогда не предупреждали. В чем же тут дело? Я ловлю себя на том, что считаю по пальцам, прежде чем проговорить:

— Ей около ста, не так ли?

— В нашей семье живут долго, — продолжает матушка. — Твой дед умер восьмидесяти восьми лет. Бабушке девяносто четыре. Они намного пережили своего зятя.

Я хотел было пояснить, но матушка комментирует сама:

— Твой бедный отец женился на мне ради состояния, которым так и не смог воспользоваться. Это поучительная история.

Она заводит какую-то новую песню. Однако что-то за всем этим скрывается. Как это я сразу не догадался, что мы приближаемся к истинной цели ее визита? Сейчас меня поставят в известность, вот, уже начинается:

— С твоей бабушкой на днях случился удар. Я только что приехала из Сегре, но в Париже я одна. Твой брат Марсель с женой путешествуют по Карибскому морю, я даже не уверена, получили ли они мою телеграмму.

Она придвигается ко мне совсем близко. Я вновь ощущаю тот запах, который папа называл «ароматом полей»: мадам, должно быть, провела какое-то время в хлеву, беседуя с фермершей, прежде чем сесть в автобус и поехать на станцию. Еще одна подробность: у нее уже не один, а три золотых зуба во рту; преодолевая одышку, она произносит:

— К тому же, если говорить начистоту, я сейчас не в ладах с Марселем. Твоя бабушка, по его настоянию, сделала такие распоряжения, которые сильно ущемляют меня… да, впрочем, и тебя тоже. Я тебе объясню.

Она вздыхает. По правде говоря, мне уже не нужно никаких объяснений. То, что Марсель присвоил себе право на все наследство семьи Резо, — это ее вполне устраивало! Но он, видно, вошел во вкус и теперь норовит зацапать еще и наследство Плювиньеков — иными словами, состояние нашей матери, вот тут уже — стоп! Этого она не допустит. Появиться в обличье жертвы — весьма ловкий способ проникнуть сюда: мадам Резо приехала просто-напросто для того, чтобы предложить мне, своему бывшему врагу, союз против моего брата.

II

Звоню по телефону Батисту Форю, кузену Бертиль, а главное, другу — по профессии он художник, — и слышу, как он смеется в бороду.

— Да это просто история с привидениями, — говорит он. — Привидений я никогда не рисовал. Если она снова появится, позволь мне написать ее портрет.

Звоню Арно Макслону, моему коллеге и соседу, с которым мы дружны уже двадцать лет. Как и я, он женат во второй раз и окружен детьми от обеих жен. Он любит добродушным тоном пророчить самое худшее.

— Ну что ж, — говорит он, — она ждала, чтобы истек срок давности. Берегись: это пахнет рецидивом.

Звоню Поль, которая была моей приятельницей еще до появления Моники; она старше меня и относится ко мне немного по-матерински. Мы не виделись со времени ее отъезда в Испанию. Но с тех пор, как она вернулась, раз в месяц мы болтаем по телефону: Поль говорит, что стала совсем седая и, если я ее увижу, она много по-

теряет в моих глазах. Слух у нее прекрасный, и голос, который я слышу, не видя ее, заявляет с царственным равнодушием:

— Вот видишь! Клятвы в любви, клятвы в вечной ненависти — цена им одна. Приглядись к мадам Резо: только имя прежнее, а человек, конечно, уже не тот.

В отсутствие Жаннэ, который, возможно, занял бы враждебную позицию, семейный совет высказался за завтраком вполне единодушно. Мнение Бертиль: «У меня не было сомнений. Восстановить в правах бабушку — значит восстановить в правах детей». Мнение Саломеи: «Твои прежние ссоры с ней нас не касаются — лишь бы она не затевала новых». Мнение Бландины: «Поживем — увидим». Мнение Обэна: «Будем держать ухо востро». А я размышлял: для такого шага матушке понадобился серьезный стимул… Но будем справедливы: для этого ей понадобилось и некоторое мужество, а возможно, и нечто большее. И своего рода высокомерие («Чего только обо мне ни болтали, а мне наплевать»), и хитрый расчет («Мой сын? Да, он ни за что не устоит — до смерти рад будет оказать мне услугу»), тут и умение все взвесить. А может быть, это усталость? Или одиночество? Ведь мы все похожи друг на друга.

С годами мы очень меняемся. Взять, к примеру, меня, Жана Резо: остался ли я таким же, каким лазил по ветвям тиса, или позже, когда покоился в объятиях другой женщины? Конечно, я не забыл свою молодость. Но с тех пор я знавал времена и похуже. Если новое горе и не вытесняет прежнего, оно заслоняет его, как одно дерево заслоняет другое, стоящее вдали, — и последнее из посаженных в моей жизни деревьев давало куда больше тени.

Согласившись лишь на рюмку портвейна, мамаша поспешно удалилась, не оставив даже адреса своей гостиницы и только потребовав, чтобы мы приехали к ней по первому зову:

— А главное, приезжай на машине! Говорят, у тебя «ситроен». Я-то, знаешь ли, думала, что ты любишь машины, которые могут обогнать ветер. «Без блеска, без треска, зато полный комфорт», — говаривал твой отец. «Ситроен», в общем, меня устраивает. Надеюсь, ты не подведешь.

Я ничего не обещал. Уткнувшись носом в бювар, я размышлял за своим письменным столом, растревоженный возобновлением старых козней. Меня разбирали противоречивые чувства: я опасался, что матушка одурачит меня, и в то же время боялся одурачить сам себя, я хотел со-

хранить душевное равновесие, и в то же время меня одолевало желание вновь окунуться в свою молодость. Надвигающиеся события всегда пробуждают во мне давнишнюю страсть к анализу. Передо мной на бюваре лежал листок бумаги, который я вынул из ящика стола, — небольшая генеалогическая таблица (Фред говорил: «Местами она генеа-нелогическая»), изображенная рукой моего отца… Семьи обычно собираются вместе в одних и тех же местах: в церкви, в мэрии, на кладбище; для некоторых существует еще и дом, где воспоминания укоренились так же глубоко, как вязы в фамильном парке. Но и в таком доме семья никогда не собирается в полном составе, и местом общей встречи поневоле оказывается генеалогия, представленная либо в виде дерева, чьи весенние листики символизируют наших детей, либо в виде многоступенчатой пирамиды, где квадратики, подвешенные друг к другу черточками, напоминают «мобили» Колдера.[3]

Генеалогическое древо, лежавшее у меня перед глазами, относилось как раз к этому второму типу, и не знаю почему («Не знаю почему»? Так ли?

---

[3] Примечания: 3

Созданные из проволоки и обрезков металла движущиеся скульптурные композиции американского скульптора и художника Александра Колдера (1898–1976).

Ведь я происхожу от тех, кто шел передо мной, те, что идут следом за мной, получили жизнь от меня), но после смерти отца я аккуратно его дополнял. Хотя между мной и другими членами семьи не было никакой связи, сведений для этого мне хватало. У меня тоже были свои семейные осведомители — троюродные братья, вечно твердившие мне: «В конце концов, право же, тут все должно быть в порядке», перебежчики, воодушевленные противоположными чувствами; а главное, были жившие по соседству кумушки, которых нисколько не обескураживало мое молчание. Диву даешься, до чего их будоражат подобные ситуации! В течение восемнадцати лет некая мадам Ломбер, владелица книжной лавки в Сегре, которая подписывалась своим именем и не скрывала своего адреса, вменила себе в обязанность каждые три месяца посылать мне краткий отчет. Выглядело это так:

> *«Печальная новость, мсье! Ваш тис лежит на земле, как и все прочие деревья ценных пород. Здесь стараются выколотить побольше денег».*

Или так:

«Ваша матушка прочла в „Курье де л'Уэст“ о рождении Обэна. Поначалу она отреагировала так же, как много лет назад, когда узнала о смерти вашей первой жены: „Мог бы все же меня известить“. Потом проворчала: „Назвать ребенка Обэном… Надо же придумать! Хотя, правда, это анжуйское имя“».

Или:

«Мне понравилось последнее речение вашей матушки: „А этот неудачник в конце концов все-таки преуспел!“ Я прекрасно поняла, что, по ее мнению, можно и преуспевая оставаться неудачником; но, поскольку всякое преуспеяние по сути своей буржуазно, она попытается воспользоваться случаем и примкнуть к вам на каком-нибудь повороте».

Или:

«Было ли это сказано для красного словца? Или с искренним чувством? Когда Жобо, ее фермерша, подарила ей иммортели, мадам Резо, говорят, заметила: „Я тоже высыхаю“».

С некоторых пор она перестала мне писать, эта мадам Ломбер, не преминув объяснить свое молчание на цветной открытке, изображавшей лимонные деревья Мантона:

> *«Мой муж продал наше дело, и мы переехали сюда. Так что я теперь в изгнании, в теплых краях. И больше я уже не смогу быть вашим глазом и вашим ухом у вас на родине. Вы скажете, что никогда не просили меня об этом. Но вы мне этого и не запрещали — ведь вы же ни разу не отослали обратно мое письмо. Разве это не было молчаливым согласием?»*

Но вернемся к лежавшему передо мной листку бумаги. Он разделен по горизонтали на три части. Самая верхняя из них погружена во тьму веков: там указаны имена тех, кого я никогда не знал. Ниже, за четкой линией она обозначает рубежи смерти к моменту моего рождения, — в легком сумраке воспоминаний находятся исчезнувшие недавно; население этой второй зоны многочисленно, и она словно давит на пространство, отведенное для живых, напирая на неустойчивую черту, проведенную карандашом (ибо время от времени приходится стирать ее резинкой и

перемещать ниже). Линия эта не что иное, как новые рубежи смерти, отсекающие стариков, иногда опускающиеся стрелой вниз, чтобы собрать свою жатву у юности — отнять у Марселя маленького сынишку, у меня молодую жену.

За спиной у нас уже осталось только трое: умирающая бабушка Плювиньек, восьмидесятилетний папский протонотарий[4], который доживает свои дни в монастыре, где в меру сил исполняет обязанности настоятеля, и моя матушка — на пересечении трех ветвей, ведущих к трем ее сыновьям.

Представители старшей ветви — ветви Фердинана, или Фреда, которого мы прежде звали Рохлей, насколько мне известно от друзей, а также из пространных (и горестных) сообщений мадам Ломбер, — вызывают одновременно и смех и слезы. О мой отец! Вы, который так гордились своим «чисто буржуазным родом, насчитывающим уже три века», своей фамилией, «почитаемой даже на набережной Конти[5] и в известном смысле ни в чем не уступающей дво-

---

[4] Примечания: 4

*Папский (апостольский) протонотарий — почетный прелат, которому папа римский присвоил этот титул и его особые привилегии.

[5] Примечания: 5

На набережной Конти находится Французская академия.

рянским фамилиям, украшенным частицей де…», интересно, стали бы вы сегодня утверждать, что «цветная раса прерывает родословную»? Ведь мой старший брат Фред, который долго бедствовал, стараясь пристроиться в разных местах, в конце концов каким-то образом очутился на острове Реюньон, откуда через несколько лет вернулся с мулаткой Амандиной Гомес и маленьким квартероном… Ну а сын Фреда, никому не известного мелкого служащего какого-то банка в Монлери, снимающего жалкую лачугу в Лонпоне, его старший отпрыск, «главный наследник имени и герба», которого зовут Жак, как и его покойного деда, окончательно скатится в низы общества.

Марсель, помеченный от меня слева, наоборот, позаботился о том, чтобы в жилах его детей текла голубая кровь: наш Кропетт, ставший студентом Политехнического института, потом артиллерийским офицером, женился на Соланж де Кервадек, племяннице кардинала. Откупившись от службы в государственном учреждении он стал инженером, а потом генеральным президент-директором brain-trust[6] (раз уж теперь

[6] Примечания: 6
Мозговой трест (англ.).

выражаются так), находящегося в Пеке и специализирующегося в области engineering.[7] Единственный и безусловный наследник своей крестной матери, баронессы Сель д'Озель, наследующий игорный дом от еще трех благочестивых теток, завещавших ему свое состояние (за вычетом 15 %, предназначенных на благотворительные цели — в качестве пропуска, который они предъявят у райских врат апостолу Петру), Марсель, что называется, хороший муж, хороший отец, хороший христианин с хорошими доходами, еще округлившимися благодаря доходам его жены, которая вознаграждает его тем, что, в лучших традициях героического материнства, сама округляется в среднем каждые два года. «Да это не дом, а какой-то крольчатник!» — говорят, воскликнула матушка после появления девятого отпрыска. У меня там есть и племянницы, и племянники, но тут уж моя генеалогия не полна. Я знаю только Луи, Розу, Эмэ, остальные — безымянное скопище, но скопище детей воспитанных, крещеных, которым читают нравоучения, кото-

[7] Примечания: 7

Глобальное изучение какого-нибудь промышленного проекта во всех его аспектах: техническом, экономическом, финансовом и социальном, координирующее отдельные исследования различных групп специалистов (амер.).

рые обращаются к родителям на «вы»… Словом, настоящие Резо! Фирма внушает доверие.

Между этими двумя ветвями — я со своим семейством. Я нахожусь в серединке, но по чистой случайности: о чем бы ни шла речь, я никогда не мог и не старался где бы то ни было устраиваться. Сбежав из Общества («о» заглавное), из того общества, которое уже не осмеливается назвать себя «хорошим», продолжая, однако, считать себя таковым, я не примкнул ни к какому другому. Я человек деклассированный: всем этим браминам, этим крупным буржуа, я предпочел неприкасаемых; однако же последние мечтают о бесклассовом обществе и смотрят на меня как на перебежчика, не способного смыть с себя первородный грех. К счастью, с некоторых пор нас стало много: те, кто поднимается по социальной лестнице, и те, кто спускается по ней, все оказываются в одном мешке… И тут за отсутствием классового критерия мгновенно появляются другие классификации: теперь смотрят, у кого сколько денег, кто какую занимает должность, какая у кого ванна, какой марки машина — ведь в этих приметах благополучия и заключено очарование нашей эпохи… Но пойдем дальше. И пойдем быстро, потому что путь от случайной

удачи к привилегированному положению не долог, а когда ты ублажен по всем статьям, пусть даже и не слишком, ты уже можешь спокойно смотреться в зеркало своей спокойной совести, говоря при этом, что тебе неудобно перед приятелями!

Впрочем, когда я просто смотрюсь в зеркало, я тоже кажусь себе хитрецом, вспоминая о том юноше, каким я был в молодости, — правда, все мое удовлетворение тут же улетучивается. Этого почтенного гражданина я хорошо знаю, я брею его каждое утро. Он, слава богу, еще не сдал! Еще полон жизни, хотя жить с ним не стало легче; в глазах живые огоньки, а одна бровь по-прежнему выше другой. Не изменился? Нет, на этот счет не будем заблуждаться. Волосы выглядят прилично благодаря красящему шампуню, которым я пользуюсь раз в три месяца. Но если голова у меня по-прежнему такая же квадратная и широкие скулы, если зубами я все еще могу разгрызать косточки от персиков и подбородок так же воинственно выдается вперед, то время, увы, не пощадило моей кожи. Все это называется зрелым возрастом, пришла пора пожинать плоды.

Плоды моего труда стоят того, чего они стоят. Я не распространяюсь о них в семье. Я полагаю

— эту точку зрения я унаследовал от отца, — что о значимости или незначительности того, что ты делаешь, и о том, сколько ты зарабатываешь, дома нужно говорить поменьше, дабы твои неудачи, равно как и успехи, не сказывались на родственных отношениях, которые не должны от этого зависеть. Когда занимаешься тем ремеслом, которым занимаюсь я, когда знаешь, как трудно выплыть на поверхность чернильного моря, тогда легко оцениваешь преимущества такого принципа и довольно скоро отдаешь себе отчет в том, что не стоит особенно уточнять источник своих доходов. В тех семьях, где думают только о карьере и никогда — о призвании, писательство, судя по всем этим родственным излияниям, вызывает легкое отвращение, вроде как стриптиз. Гораздо благоразумнее заставить наших родных забыть, что и впрямь, как у дам, подвизающихся на этом поприще (которые, правда, обнажают только себя), профессия наша состоит в том, чтобы ходить обнаженными и попутно раздевать наших близких и наших друзей, которые нам доверились, стараясь захватить их врасплох в интимной жизни.

«Когда я узнаю в твоих героях какую-то свою черту, — говорила мне Моника, — мне начинает

казаться, будто ты проделал отверстие в стене ванной комнаты и выставил меня напоказ перед тысячью зрителей».

Невидимая теперь, кто знает, может, она и опечалилась бы оттого, что мы окружаем ее молчанием? Портрет ее висит не у меня в кабинете, а в комнате Жаннэ (уменьшительное имя, родившееся в ее устах, чтобы отличить сына от отца). Мы с ним никогда не говорим о ней. Только обмениваемся взглядами, если случайный намек, вырвавшийся у Бертиль, вызывает в нашей памяти образ той, что исчезла навсегда. Мы даже не каждый год навещаем ее могилу в Тиэ. А между тем множество предметов, населяющих наш дом, было выбрано ею. Я ни за что не расстанусь с бумажником, совсем уже потрепанным, ее последним подарком. Жаннэ было шесть лет, когда произошла катастрофа, и он почти не помнит свою мать, но тоже никогда не расстается с тоненькой цепочкой, которую она носила на шее, иногда покусывая брелок с образком, как другие кусают ногти.

Однако вырастила его — порою делая над собой усилие — Бертиль, которую он зовет мамой, так же как Саломея называет меня папой. В их устах эти слова звучат так же естественно, как

у Бландины или Обэна; и посторонние с любопытством смотрят на нашу семью, где гены явно распределились с самой необузданной фантазией. Дети мсье, описанного мною выше; дети мадам (которая на десять лет моложе мсье), урожденной Дару, появившейся на свет в Перре, от родителей, выходцев из Буржа, типичной жительницы пригорода, с кармином на губах и ногтях, которую — ввиду ее происхождения — я называю иногда «берришонкой»... Так вот, дети мсье, непоседливого человека, с неменяющейся, но забавной внешностью, и дети мадам, убежденной домоседки, которой достаточно перекрасить волосы, чтобы удовлетворить свою склонность к переменам, — дети их, все четверо, мальчики и девочки, совершенно друг на друга не похожи.

Двадцатичетырехлетний Жаннэ — плотный, голубоглазый блондин, рост 1 метр 85 сантиметров, вес 80 килограммов, грива точно у Авессалома, сына Давидова. Впрочем, он отнюдь не мягок, не нежен. Скорее непреклонен. Бескорыстием пошел в свою покойную мать. Независим, хотя таким не кажется. Отнюдь не простак, хотя и кажется таким. В настоящее время, после длительной отсрочки, служит сержантом и благодаря своему диплому программиста работает на

армейском компьютере. Чемпион Иль-де-Франс в беге на тысячу метров.

Восемнадцатилетняя Саломея, сокращенно Смэ (так называет ее младший брат, ее любимец), напротив, типичная южанка с рассыпанными по плечам черными кудрями. Она — вот ведь ухитрилась! — до такой степени похожа на Бертиль, что иной раз фотографию ее матери в молодости можно принять за недавний портрет дочери. Саломея невелика ростом и потому носит высокие каблуки. При виде ее маленькой, но пухленькой фигурки глаза у мужчин плотоядно поблескивают. Очень решительная, она весело командует братьями, когда ей случается выступать в роли Бертиль. Окончила лицей, однако учиться дальше не хочет. Влюблена в Гонзаго, сына врача из Ланьи, и ни в грош не ставит все остальное, кроме своей скрипки.

Бландина — шестнадцатилетняя девушка, словно сошедшая с полотен Рубенса, тем более что она еще и рыжая. Томная, пылкая, но при этом живая и лукавая. Она меньше, чем ее сестра, склонна заниматься хозяйством и командовать в доме, зато весьма популярна в лицее — отлично успевает по всем предметам, кроме математики. Ее хобби — фотография, и поэтому она историо-

граф нашего клана.

Наконец, Обэн — Хватай-Глотай в двенадцатилетнем возрасте, но только Обэну ни от кого не приходится защищаться. Весельчак, немного клоун. Если на него перестают обращать внимание, замыкается в себе — смотрит на вас, полуприкрыв глаза торчащими во все стороны ресницами, и кажется, будто это щель в лопнувшей скорлупе каштана. Нужно ли добавлять, что этот непоседливый, как белка, мальчуган в штанах с кожаными заплатами на заду, чья квадратная мордашка забавно вытягивается, если перед ним ставят тарелку с сельдереем, имеет надо мной известную власть?

III

У края освободившейся от воды набережной кипела Марна, снова входившая в свои берега, мы увидели, как по ней проплыл мимо на дубовом бревне живой и невредимый петух. Все жители домов, стоявших на набережной, шлепали по тине, вдыхая вонь от всплывшего на поверхность содержимого помоек, и граблями счищали отбросы со своих лужаек. Жена моя мыла подвал, выливая туда целые ведра жавелевой воды, а я обдавал струей из шланга загаженный гравий двора, как вдруг около десяти часов зазвонил телефон. Я бросился в дом, оставив грязные сапоги у входа, и в одних носках вбежал в кабинет, а следом за мной поспешила Бертиль в чулках. Я думал, что звонят из газеты насчет статьи. Оказалось, что звонит матушка — вернее, ее привратница, поскольку матушка туга на ухо. Без всякого предисловия визгливый голос произнес:

— Прошу вас принять мои соболезнования, мсье Жан. Ваша бабушка скончалась. Мадам Резо сидит у меня в привратницкой на улице Вано, дом шестнадцать, и ждет, чтобы вы срочно свезли

ее в Рюэйль.

Ну, конечно же, в Рюэйль, в дом покойницы, урожденной Вароль (появившейся на свет еще при Второй империи!), единственной дочери уже не молодых в ту пору родителей: толстого краснолицего полковника национальной гвардии Эрика Вароля д'Эндук, по прозвищу Индюк, взятого вместе с императором в плен при Седане, и его домоправительницы Леони, на которой он женился вовсе не по необходимости, а на следующий день после того, как она получила наследство, которое позволило ему счесть ее достойной себя (папа очень любил рассказывать нам по секрету эту историю). Я знал, что вилла в Рюэйле, куда, оставив политику и квартиру на улице Пуссена в Париже, Плювиньеки удалились еще в 1930 году, заботясь о своем долголетии, довольно обширна и что на нее зарится Марсель. Но почему же матушка до сих пор не там? Разве она не присутствовала при кончине бабушки? В общем, я знал об этом далеко не все, вернее, я почти ничего не знал.

— У нее есть где остановиться в Париже? — спросила Бертиль, вешая трубку.

— Возможно… Так или иначе, поехали!

Детей не было дома, в том числе и Саломеи

— она сдавала экзамен, чтобы получить водительские права. Мы второпях оделись, нацарапали записку, оставили ключ соседке и помчались в гараж, где наш «ситроен» ожидал конца наводнения. Бертиль — почти всегда машину ведет она — уступила мне руль и за весь путь, вместо того чтобы по обыкновению придираться к водителю, не проронила ни слова. Я же, искоса на нее поглядывая, думал: вчера ей было интересно разыгрывать из себя невестку; сегодня эта роль внушает ей беспокойство. День стоял серый, рестораны были полны, движение на дорогах — умеренное. В полдень я входил в привратницкую на улице Вано.

Матушка, которая ела бутерброд, наполовину торчавший из жирного бумажного пакета, сунула все это в карман своего пальто и встала.

— Счастливо оставаться, Мелани, — сказала она, обратившись на «ты» к монументальной привратнице, не сводившей с меня глаз. — Если я к вечеру не приеду, то позвоню тебе.

Она устроилась на заднем сиденье машины и вновь принялась жевать бутерброд, со смиренной прожорливостью вонзая в него свои золотые зубы.

— Пари держу, что вы не успели поесть, —

сказала она, не переставая жевать. Потом, без всякого перехода: — Ты узнал Мелани?

Я отрицательно покачал головой.

— Дочь наших бывших фермеров из «Ивняков»… — объяснила она. — Сестра Мадлен, которая недавно умерла на ферме «Красная соль» от рака. У Мелани есть мансарда на восьмом этаже. С тех пор как дочка вышла замуж, она уступает ее мне, когда я приезжаю в Париж. Это в центре. Я могу пользоваться телефоном в привратницкой. Могу сварить себе там яйцо… А что ты думаешь? Гостиница мне не по карману: я небогата, приходится экономить.

Мадлен, моя пастушка, с которой я, когда ей было пятнадцать лет, баловался под кедром, где гнездились коршуны, и которая в двадцать пять стала дородной хозяйкой соседний фермы… Неужели умерла? Нет, этого я не знал. Что касается Мелани, то, конечно, она, уроженка Кранэ, почитает «мадам» и из любви к местам своего детства готова ей помогать. Разве не назвала она меня по телефону «мсье Жан», как называла тридцать лет назад, когда ходила в сабо на босу ногу? Значит, еще не исчезло раболепное стремление услужить? Заметив выражение враждебности на моем лице, матушка на сей раз ничего не может

понять. Ей и невдомек, что меня коробят эти следы былых привилегий, которые столь для нее лестны. Полагая, очевидно, что мне не нравится, как она управляла имением, она подождала, пока я проехал еще три улицы, и лишь тогда решилась прокомментировать:

— У твоего отца уже после первой мировой войны начались трудности. Можешь себе представить, как тяжело приходится мне! И как я хочу, чтобы меня обобрали в пользу Марселя под тем предлогом, что ты и Фред тоже мои наследники и что если наследство сначала попадет ко мне, то состояние Плювиньеков может оказаться у вас…

Ах, вот оно что! Не здесь ли зарыта собака? Она хочет поживиться, а я должен ей посодействовать. Хороший урок для Бертиль — она же иногда мне не верила! Между тем матушка сочла уместным изобразить скорбь.

— Бедная мама! — продолжала она. — Она была слишком стара, чтобы отрешиться от своих предубеждений. Впрочем, и Марсель не зевал…

Потом я уже слышал только шум мотора и скоро увидел в зеркальце весьма назидательное зрелище — мадам Резо, сунув за щеку мятную конфетку, вытащила свои четки и, решительно перебирая их большими пальцами, молча

шевелила губами: воздавая добром за зло, она молилась за покойницу.

Площадь Этуаль, бульвар Майо, Дефанс, Мальмезон. Еще полчаса — и приехали. Несмотря на то, что здесь как грибы растут небоскребы (которые до тридцатого этажа будут набиты мелкими служащими), несмотря на доступную цену за квадратный метр, — район этот все еще сопротивляется нашествию, цепляясь за XIX век. Большинство особняков построено здесь еще в ту пору, когда не любили показной роскоши и фасады домов, обращенные в сторону парков, не должны были вызывать зависти прохожих, которым внушала уважение высокая ограда, ощерившаяся битым стеклом, с плотной стеной деревьев за ней. Дверь с глазком в той стене, у которой я остановился, была отворена, и из нее выходила молодая женщина с большим чемоданом.

— Это что такое? Что она уносит? — встрепенувшись, спросила матушка.

Я осведомился: то была сиделка, спешившая по другим адресам, туда, где витала смерть. Но мадам Резо уже переступила порог. Она бросила, казалось, чуть смягчившийся взгляд на лужайку, на тенистые деревья, на узенькие аллеи, усыпан-

ные мелким песком, по которым, верно, когда-то прогуливалась в своих высоких зашнурованных ботинках мадемуазель Плювиньек, и тотчас же, устремившись к вилле, натолкнулась на первое препятствие. Скрытый густыми кустами аукубы, я немного отстал вместе с Бертиль, которая, глядя на слишком пышный фасад в викторианском стиле, выдохнула: «Ну и ну!» Я услышал:

— Мсье Марсель приехал с вами? Мадам Плювиньек очень просила меня…

И тут же вместо ответа грозное рычание:

— Да вы что!..

Я сразу понял, что как шофер и одновременно внушающее уважение лицо я могу оказаться полезен матушке. Чувствуя за собой поддержку, она легко привела в замешательство ту, что вышла ей навстречу. Пока завещание не прочитано, дочь умершей по естественному праву была здесь, бесспорно, у себя дома, и компаньонка, которую облекла своими полномочиями ее бездыханная хозяйка, оказалась в трудном положении. Благословенное путешествие, благодаря которому не поспел вовремя привилегированный наследник! Я выступил вперед. Бертиль тоже. Мы были в большинстве, и матушка, казалось, приободрилась, получив наконец возможность

пойти наперекор последней воле покойницы — единственного на моей памяти человека на свете, которого она так и не смогла заставить плясать под свою дудку. Компаньонка же чуть не лишилась чувств.

— Но, мадам, — отважилась она пролепетать, — я получила распоряжения…

Репутация — какое это верное средство для устрашения глупцов! Сам дьявол в моем обличье прошел мимо этой девицы, жесткой, сухой, с морщинистой шеей и руками. А потом и жена дьявола, которая проворчала:

— Вы как знаете, а я хочу есть.

Теперь достаточно было отправить этого цербера в бельевую, но матушка, которая сначала чуть не растерялась, возвысила голос:

— Теперь, мадемуазель, распоряжаюсь здесь я, и прежде всего я требую, чтобы вы немедленно покинули этот дом. Вам тут больше нечего делать. Нотариус заплатит вам все, что вам причитается.

Когда глубоко оскорбленная старая дева ретировалась, теребя свой нагрудный крестик, матушка остановила взгляд на служанке Анне — в чепце, какие носят уроженки Орэ, та не отступала ни на шаг от компаньонки. Но второй

стычки не последовало: Анна, рабыня Плювиньеков, служившая им еще в старом поместье сенатора в Морбиане, быстро приняла сторону дочери покойной. Впрочем, улыбка ее красноречиво говорила о ее отношениях с побежденной.

— Бедная мадам лежит там, в голубой спальне, — пролепетала она. — Через час ее должны положить в гроб. Я не провожаю вас, мадам Поль, сами знаете, как пройти.

Пусть же настежь распахнутся застекленные двери передней и да проследует наше траурное шествие по толстому ковру, прикрепленному к лестнице медными прутьями! Рядом я слышу шепот:

— Если бы тебя увидел здесь твой брат, у него разлилась бы желчь!

Нечего и сомневаться, мое присутствие будет расценено как знак благоволения ко мне, а вовсе не как оказанная мною услуга. Но вот и лестничная площадка, освещенная мягким светом стеклянных горок, набитых разными безделушками, весьма типичными для буржуазного дома девятисотых годов: бронзовые статуэтки, вещицы из металла, саксонский бисквит. И вот наконец широко раскрытая дверь голубой спальни.

Вокруг кровати с колоннами и пологом гро-

моздятся остатки былого великолепия — правда, по-настоящему уцелели только прочные материалы: стекло, дерево, металл, а плюшевая обивка в цветочек на мебели и тяжелые занавеси с шишечкой на конце шнура пришли в ветхость. Сама кровать кажется почти пустой: там лежит нечто среднее между миниатюрной амазонкой и яблоком ранет в конце сезона. Заметнее всего руки…

— Как! — воскликнула сирота. — У нее в руках оставили четки с ангелами!

И в самом деле, пальцы покойной обвиты четками из слоновой кости в золотой оправе, каждая бусина которых — крошечная головка ангелочка, а вместо взрослого Христа ювелир с наивным садизмом пригвоздил к кресту младенца Иисуса. Это редкая вещица, и мадам Резо не колеблется. Одну за другой она высвобождает бусины из уже окостеневших пальцев покойницы, сует их к себе в сумку, откуда достает в качестве замены собственные четки, добротные, будничные четки из оливковых косточек, напоминающих благочестивым душам о муках в Оливковой роще в Гефсиманском саду. Вдобавок они освящены (четки с ангелочками — вряд ли), да к тому же еще не успели остыть от жарких молитв мадам Резо.

— Ну и ну! — вздыхает Бертиль за моей спи-

ной.

Мадам Резо, которая не слышала ее вздоха, хватает веточку розмарина, плавающую в блюдце на ночном столике, и с напускной торжественностью трижды взмахивает ею: несколько капель воды падают на отороченную кружевами простыню. Матушка поворачивается ко мне, потом спохватывается, наверняка вспомнив о моих отношениях с бабушкой, если не о моих отношениях с небом, и кладет розмарин обратно.

Потом она вдруг задергивает полог кровати и, ради приличия изолировав таким образом покойницу, пикирует прямо на шкаф. Она распахивает его настежь, перетряхивает две стопки белья и под третьей находит то, что искала: конверт с надписью: «Здесь находится мое завещание», причем даже не запечатанный. Матушка тем не менее лихорадочно вскрывает его. Она встряхивает этим завещанием, довольно коротким, целиком написанным синими чернилами на гербовой бумаге рукой покойницы, ее аккуратнейшим почерком воспитанницы монастырского пансиона. Она читает, вся передергивается, кричит:

— Ну и подлецы!

И — раз, два! — рвет завещание пополам, потом на четыре части, на восемь частей.

Такого я не ожидал даже от нее! Ее душит бешенство, она топчет ногами обрывки завещания. Перед нами воскресла Психимора. Но на этот раз я не участвую в игре, я всего лишь зритель. Я, словно с другой планеты, вижу и слышу, как наследница задыхается от злости.

— Марсель — единственный наследник! Ему завещан дом и все, что в нем есть. Еще до раздела имущества! Никакого раздела! У меня право только на то, что по закону положено дочери. А как вам нравится приписка: «Не ищите моих драгоценностей: я ими распорядилась»?

— Остались только самые пустяки, — произносит чей-то голос.

Это Анна, которая потихоньку вновь вошла в спальню; вид у нее такой, будто ей очень весело. Она объясняет:

— Мсье Марсель приезжал на несколько дней перед своим путешествием. Я видела, как он спускался с большой коробкой. Я была в передней, а тут как раз мадам Плювиньек позвала его обратно и сказала что-то, уж не знаю что. Он вернулся, оставил коробку на стуле… Стал выносить пакеты, да не один, а десять, может, двадцать. Я подумала, ну, это все-таки слишком, он вывозит все, пользуется тем, что у мадам с головой плохо…

Я решила посмотреть — коробка была набита футлярами. Открываю один, оказывается, там камень, ей-богу, не вру, такой большой, с мой ноготь…

— Солитер в десять карат! — простонала мадам Резо.

— В другом — ожерелье, браслет, брошь с синими камнями…

— Бальный гарнитур с сапфирами!

Я чуть не прыснул. Однако окончательно ли из меня изгнан дьявол? Живя на заработанные, а не на полученные в наследство деньги, зная, что, кроме побрякушек, дома и обстановки (хотя уже одно это могло бы осчастливить два десятка супружеских пар, которые из кожи вон лезут, чтобы заплатить по чекам за свои двухкомнатные квартиры), не много останется от огромного состояния, сколоченного в начале столетия благодаря спекуляциям банкира Плювиньека… я начинаю все же досадовать, сознавая, что в конце концов играю дурацкую роль во всех этих спорах и что, если у него, у брата, десять детей и это в какой-то мере извиняет его грабеж, то и у меня тоже четыре рта.

— Компаньонка поехала прямо к нотариусу предупредить его о том, что происходит, — заме-

тила бретонка. И, глядя на разбросанные по полу клочки бумаги, добавила: — Знаете, у них есть еще другой экземпляр завещания, у нотариуса.

Но нам уже не остановить мамашу, которая словно сорвалась с цепи. Она шарит в комоде, потом в шифоньере. Находит забытый медальон, сует его в карман, находит камею и пихает ее туда же, находит золотую коробочку для пилюль и ее тоже сует в карман, приговаривая:

— Раз уж он захапал все, мы будем просто дураками, если не соберем хотя бы последние крохи!

Нет никакой надежды на то, что мы зайдем на кухню перекусить. Она будет таскать нас за собой из комнаты в комнату, она будет хватать своей крючковатой рукой все, что попадет на глаза, и, не переставая, возмущаться подлой неблагодарностью человеческого рода. Она охрипла от крика. Пусть даже все это сплошное притворство, она не перестает повторять, что у нее ничего не останется на память о ее отце: ни единой его вещицы, ни портрета, а ведь точно в таком же положении по ее вине оказался и я, но она, и глазом не моргнув, изливает мне свои обиды. Она вне себя от бешенства, ее злит не столько то, что ее обобрали, сколько то, что ее одурачили. Она хватается за какую-нибудь безделушку, потом

бросает ее, переворачивает все вокруг, и, глядя на нее, становится ясно, что хотя, при ее алчности, ей и очень тяжело отказаться от мысли завладеть желаемым, но всего непереносимее для нее — утрата своей власти.

Самой невероятной будет финальная сцена. В два часа позвонит нотариус. Услышав в трубке мой голос, он выразит *удивление и в то же время радость, что в этих прискорбных обстоятельствах я нахожусь рядом с мадам Резо, которую постигло такое несчастье*, и вежливо попросит меня сообщить своей клиентке и другу, *если ей это неизвестно*, что дом завещан ее сыну Марселю. В три часа мы все вернемся в спальню, чтобы присутствовать при положении во гроб, затем гроб снесут вниз и поставят в передней у подножия серебряного распятия, поблескивающего в сумеречном свете четырех канделябров. В четыре часа над нами наконец смилуются, дадут чаю с сухим печеньем, а затем возобновятся поиски, и тут мы обнаружим стенной шкаф, набитый облигациями русского займа, по ценности равными стоимости бумаги, на которой они напечатаны, хотя на всех шестистах облигациях и раскинули крылья шестьсот двуглавых императорских орлов. Наконец, около пяти, снова раздастся

телефонный звонок: Марсель позвонит из Тринидада; он примет меня за служащего похоронного бюро, сообщит, что завтра прибудет на самолете, и попросит передать всем в доме, чтобы до его приезда никто не смел ни к чему прикасаться.

Охваченная новым приступом злобы, матушка кидается на столовое серебро и, как попало, швыряет его в чемодан. Потом хлопает себя по лбу с возгласом: «А кружева-то!», протискивается позади гроба, наполовину загораживающего дверь в гостиную, и хватает там бретонские кружева и ирландские кружева — как считают, просто чудо.

А мы дожидаемся в передней. Мы сыты всем этим по горло. Нам хочется домой. Бертиль, убедившись наконец в моей правоте, хрустит пальцами… Но вот мадам Резо возвращается с тюком, второпях завязанным в какую-то занавеску. Тюк такой огромный, что она не может его пронести. Она вытягивает шею. В раздражении щелкает языком.

— Отодвиньте же крест! — кричит она. — Он мешает…

И так как, пораженные, мы не трогаемся с места, она вздымает свой тюк на вытянутой руке и перебрасывает его через гроб к нашим ногам.

IV

Как призналась сама Бертиль, результаты «испытания» оказались необнадеживающими, а потому мы не без колебания оставили у себя матушку на уик-энд, так как похороны должны были состояться только в понедельник утром. Мне не слишком приятно было видеть, как она сразу же перенесла свою добычу в багажник «ситроена». Еще менее приятно было, что из этой кучи она извлекла ларец со столовым серебром в подарок моей жене. Я обратил на это внимание за обедом, когда заметил рядом с нашими тарелками ножи и вилки с вензелем Серолей. Торжествующий взгляд матушки, ожидавшей потока благодарностей, соответствовал смущенному взгляду берришонки, которая не посмела отказаться от подарка. Я повертел в руках ложку в стиле Людовика XVI (хорошая копия середины XIX века), как будто отыскивая на ней пробу. В ту же минуту вспышка фотоаппарата Бландины, не переставшей запечатлевать сцены нашего примирения, увековечила на пленке мои колебания. Мадам Резо, сидевшая от меня справа, слегка

уязвленным тоном протянула:

— Не бойся, она серебряная... Пусть это будет моим свадебным подарком, хотя и несколько запоздалым.

— Благодарю вас, матушка, — с трудом выговорил я.

Приборы только что почистили, и суп, как мне показалось, явственно отдавал порошком для чистки серебра.

Мадам Резо, видимо, поняла, что произвела на нас в Рюэйле неприятное впечатление. Она держалась натянуто. Но не стушевалась, нет, даже безмолвствуя, она занимала слишком много места. И ничуть не растерялась, несмотря на то что старые правила хорошего тона под моей либеральной крышей не соблюдались. Ее пронизывающий взгляд не дремал, осуждая наше время, он старался не замечать сутулящихся спин, локтей на столе, тарелок, которые дети приподнимали во время еды или вытирали хлебным мякишем на глазах у безразличных к этому родителей. Ее ухо поворачивалось то ко мне, то к Бертиль, то к Саломее, в знак особого расположения причисленной ею к разряду взрослых; она старалась не замечать болтовни детей, которые влезали в разговор, когда их не спрашивали. Но

могла ли она отвергнуть простодушие Обэна:

— Ох, бабуся, хотите еще кусок торта?

Ироническая улыбка, однако утвердительный кивок головой, тем более недвусмысленный, что торт был достоин похвалы, — и на ее тарелку свалилась изрядная добавка. Что поделать, если дети не умеют вести себя за столом? Зато здесь отличное меню, полное семейное согласие и центральное отопление! По временам она, отяжелевшая, добродушная, забывала держаться прямо, разваливалась в кресле и, словно кошка, глядела узкими зрачками на нашу уютную трапезу.

Я продолжал вести себя очень сдержанно, но Бертиль совсем размякла, глядя на свекровь, которая сокрушенно помешивала свой отвар из шиповника и забрасывала ее вопросами о ребятишках. Кончилось тем, что в полночь, после долгого совещания в супружеской постели, Бертиль отпустила ей грехи:

— Дадим ей возможность искупить былое.

Бертиль соглашалась с тем, что нужно принять кое-какие меры предосторожности. Но желание наверстать упущенное побеждало в ней смутное предчувствие опасности, и она то и дело повторяла один и тот же довод: не слишком ли долго мы

пренебрегали интересами детей? Вправе ли мы из гордости не воспользоваться случаем снова сделать их полноправными Резо — ведь они же ничуть не хуже других! Осталась ли грозная их бабушка все такой же коварной и не следует ли нам попытаться обезвредить ее, окружив сластями и заботами, которых требует ее возраст? Как почти у всех женщин, у Бертиль есть что-то от бойскаута. Она уже мечтала об обращении мадам Резо… Какая благородная миссия: превратить из демона в ангела эту несчастную, чье пренебрежение к нам наверняка объяснялось пренебрежением к ней ее собственной матери, а тут еще древние предрассудки, неудачный роман, брак без любви, приведший к своеобразному раздражению против семьи, к чему-то вроде вариации на тему «Хабанеры» Кармен: «Тебя не люблю я, тебя не люблю я, так пусть твои дети берегутся нелюбви моей!»

Самое любопытное состоит в том, что, не признавая за мной никаких достоинств, кроме моего «невозможного характера», прибегая к туманным намекам на свои невзгоды, выгодно используя то обстоятельство, что и малая частица истины сообщает правдоподобие любой небылице, сама же матушка как бы дала зеленую улицу такому

объяснению. Человек быстро хватается за то, что его оправдывает или позволяет ему сохранить лицо. На следующий день госпожа матушка постаралась держаться еще более смиренно. Но было ли это действительно притворством? Если ее манера набрасываться на паштет, потом втягивать в себя спагетти с таким же энтузиазмом, с каким курица заглатывает червяка, свидетельствовала о неудовлетворенном аппетите, то вся эта сложная игра пересекающихся морщин, кудахтающих смешков, моргающих век — не выдавала ли она иного голода? Разумеется, даже памятуя о древней истории, я был далек от мысли, что за неимением волчат в один прекрасный день у сосцов волчицы можно найти Ромула или Ромулу! Но то, что матушка могла сожалеть о прошлом, казалось мне вполне возможным.

Кстати, в воскресенье произошли три интермедии, в которых мадам Резо проявила себя как существо благодушное. Во-первых, она не возмутилась, что к мессе ей пришлось идти одной. Во-вторых, с одиннадцати утра до шести вечера происходило целое нашествие молодежи, что, конечно, было для нее тяжелым испытанием, но и тут она не подала виду. Была очередь наших детей принимать у себя, и, как это бывало каж-

дый месяц, наш дом заполнили Марк и Сюзанна Машу, Клэр, младшая дочь (если не ошибаюсь) Жиля Макслона, Луиза Форю и ее лохматый племянник Андре Форю с двумя незнакомыми мне девочками, Кармен, подруга Бландины, Гонзаго, дружок Саломеи, Мари, подружка Жаннэ, и другие. Они приходили, уходили, вместе и порознь, шумели, чувствовали себя как дома, поднимались в спальни, снова спускались, хозяйничали в холодильнике, рылись среди пластинок, чтобы потом топтать до блеска натертый паркет Бертиль, и, хлопая в ладоши, присвистывая, тряся в такт музыке головой и задом, отплясывали так неистово, что из-под взлетавших юбочек чуть ли не до пояса видны были обтянутые колготками бедра моих дочерей. Разумеется, госпоже матушке пришлось ретироваться на кухню и, стараясь не выказывать удивления нашей терпимостью, наскоро поесть там вместе с нами. Прощаясь с Гонзаго, Саломея позволила ему поцеловать себя в губы, и только это зрелище заставило матушку раскрыть рот.

— Они помолвлены? — спросила она.

— Знаете, — ответила Бертиль, — теперь это не имеет значения.

Шея матушки слегка дернулась. Но на этом

закончилось все то, что могло быть ей неприятно. После того как молодежь разбежалась, явилась бабушка Дару, чтобы за семейным ужином отпраздновать свой шестьдесят пятый день рождения. Встреча двух прародительниц, двух вдов, у одной из которых муж был судьей, а у другой — кондитером, могла оказаться довольно кислой. Не будучи знакомы, они издали недолюбливали друг друга; одна кичилась своей лавочкой, другая — мантией покойного супруга. Но нам дано было насладиться двойным номером искусства очаровывать, причем у мадам Резо это искусство умерялось остатками высокомерия, а у мадам Дару — веселой недоверчивостью.

— Откровенно говоря, мадам, я вас представляла себе иначе.

Мадам Дару, с ее бесцветными, как у вареного судака, глазами, обрамленными реденькими ресницами, с толстыми дряблыми ногами на плоских ступнях, с идущим откуда-то из глубины гогочущим, как у гусыни, голосом, была не слишком-то презентабельна и сама это знала. Но она знала также и то, что со дня своего рождения все время поднималась по социальной лестнице, тогда как мадам Резо опускалась. Она долго сетовала вместе с матушкой на новые правила

аренды земли, на исчезновение повинностей, дичи, прислуги, законов, морали, облаченной в длинную мантию, и твердой власти, увенчанной пышными усами, причем мадам Дару все это нисколько не тревожило — ей просто нужно было поддакивать матушке, чтобы вести с ней разговор на равных. Она подосадовала еще на увеличение стоимости торговых патентов, ограничение прибылей и на невероятную дерзость молодого поколения: дело дошло до того, что некоторые родители — она лично знакома с такими, — когда у них похищают ребенка, еще требуют от похитителей платы за то, что берут его обратно.

— Об этих вот я не говорю, мадам, наши еще сносные…

Обсуждали также политические вопросы: мадам Резо, претендуя на роль Кассандры, заявила, что государственная машина, хоть и порядком износившаяся, как уверял когда-то Людовик XV, переживет еще, бог ты мой, ее самое, а возможно, даже и вот ее (жест в сторону Бертиль), но, уж во всяком случае, не ее (жест в сторону Саломеи), этой-то суждено умирать под властью серпа и молота.

— Да, тут уж ничего не поделаешь, когда-ни-

будь придется все же навести порядок!

— Вы меня пугаете, мадам!

Преуспев, в общем, недавно, не потеряв надежды утвердиться в жизни, мелкая буржуазия уже не шла за буржуазией крупной, которая к тому же вела себя двусмысленно, — мадам Резо нарочно чуть провоцировала: она зондировала почву, ожидала моей реакции. Я учтиво слушал. Буржуазная глупость не лишена забавных сторон; достаточно сказать, что она сама же выставляет себя на посмешище. Но, подобно кухонным запахам, она требует вентиляции. Я уже хотел было встать и пойти немного проветриться, когда обе дамы, возмущенные какой-то фривольной афишей, наклеенной возле моста Гурнэ, стали сокрушаться по поводу невиданной распущенности нравов… поглядывая при этом на наших девиц. Без видимой связи с предыдущим мадам Резо сказала:

— Да, кстати, на кой черт этим девочкам дали такие странные имена? Почему вдруг Саломея? Это в честь той, что приказала отсечь голову Иоанну Крестителю? Почему Бландина? Не в честь ли мученицы, которой выпустила кишки лионская корова?

— Я сама захотела такое имя, — сказала Блан-

дина.

— Ты что, смеешься надо мной? — воскликнула мадам Резо.

— Да нет, бабушка, — вмешалась Саломея, — я тоже изменила имя. Зачем же носить то, которое нам дали, не спросив нашего согласия?

Я ждал, что матушка взорвется от такой дерзости девчонки, бросающей вызов своему гражданскому состоянию, но она даже не поинтересовалась, какое же настоящее имя у Саломеи.

— Видать, эта девочка с характером, — процедила мадам Резо.

— Вся в тебя, — ответила Саломея.

Что-то произошло в этот момент, но никто, кроме меня, этого не заметил. Сморщенные веки мадам Резо, на мгновение опустившиеся на ее зеленые, цвета бутылочного стекла глаза, медленно поднялись, и из-под них сверкнули изумруды. Привыкнув называть на «ты» свою бабушку Дару, Саломея только что и к бабушке Резо обратилась на «ты».

V

Было два оповещения. В нашем перечислялись все: «Вдова мадам Поль Резо, мсье и мадам Фердинан Резо и их дети, мсье и мадам Жан Резо и их дети, мсье и мадам Марсель Резо и их дети с прискорбием извещают…» Впрочем, мне не легко было вставить сюда «цветных», как называет детей Фреда наша матушка. Но Анна предупредила нас по телефону, что Марсель, вернувшись с Карибского моря, пренебрег нашим оповещением и заказал другое, в котором названы только вдова мадам Поль Резо и он сам, — газета «Фигаро» поместила его в светской хронике, в рубрике траурных извещений. В результате одни и те же люди получили по два варианта некрологической прозы; похороны обещали быть весьма оживленными. Они были даже забавными. Когда мы подъезжаем — с опозданием на несколько минут, — гроб с венками уже погружен на автомобиль-катафалк, стоящий у дверей, обтянутых черной материей. Марсель стоит сразу за катафалком в сером костюме с черным галстуком и черной повязкой на рукаве, такой подтянутый,

словно на нем мундир. Выражение лица его такое же твердое, каким было и в двадцать лет (он словно загримирован сорокалетним). Соланж, которую я видел раза три-четыре еще девушкой и теперь с трудом узнаю — до того она высохла, тихонько болтает с компаньонкой. Накрахмаленные приличествующей случаю скорбью, все трое кажутся, однако, встревоженными — головы втянуты в плечи, будто в ожидании ужасного скандала. Вероятно, по этой причине, дабы не омрачать невинные души — или опасаясь вопросов, — Марсель не взял с собою детей. Уж не решил ли он обойтись и без соседей? Гроб собираются провожать каких-нибудь десять человек.

Но мы это сейчас уладим. Из пяти машин нас выходит двадцать. Все мои в полном составе, и даже Жаннэ, которого отпустили на похороны. Все Дару — им захотелось укрепить непризнанное родство, и я их не отговаривал: бабушка, обе ее дочери и оба зятя, сын и невестка да еще несколько мальчуганов. Чета Форю, чета Макслон, Гонзаго. Наконец, Мелани с мужем, сталепрокатчиком на заводе Рено, — их присутствие должно придать похоронам особенно респектабельный вид… Бедный Марсель! Его опущенные веки растерянно поднимаются, и, когда матушка, под траурной

вуалью из черного крепа, опираясь на мою руку, со скорбным видом подходит к нему, он шипит:

— Бабушка не одобрила бы вас!

— Будь она жива, конечно, не одобрила бы, — шепотом соглашается мадам Резо. — Но теперь, когда она умерла, она, должно быть, понимает, что к чему.

Марсель наблюдает за мной характерным для него взглядом: сверху вниз. Сомнения нет: наши братские узы вот-вот оборвутся, они наводят на мысль о Каине с Авелем. Жаннэ отдает честь Марселю, на что дядюшка, вперив взгляд в племянника-сержанта, непроизвольно вздергивает подбородок. Но вот является распорядитель и облегчает положение: обмен любезностями и представления теперь уже были бы некстати.

— Прошу вас, господа! — приглашает он с елейным выражением лица.

Марсель, как будто дело идет о его престиже, сразу выступает на два шага вперед. Он — главный наследник, он хоронит свою бабушку. Траурную процессию должен возглавлять он — это неоспоримо. В отсутствие Фреда я здесь, к сожалению, старший, а я не большой любитель чечевичной похлебки и не продавал за нее своего права первородства. Шнуры по обеим сторонам

процессии не протянуты: значит, старшему полагается быть справа. Я обхожу генерального президент-директора, а он, пораженный тем, что оказался слева, замедляет шаг, пытается чуточку отстать, чтобы в свою очередь обойти меня. Увы! Жаннэ подходит сзади и идет рядом со мной, я немного сторонюсь, и Кропетт, стремясь занять место справа, оказывается в канавке, куда местные кумушки так часто заставляют присаживаться своих пуделей. В конце концов Обэн встает в один ряд со своим братом, между тем как мой брат покоряется судьбе: он отступает во второй ряд и идет один, ощетинившись притворным безразличием и подстриженным ежиком волос. Повернув на секунду голову, я замечаю: там, где идут женщины, Соланж тоже вытеснили из первого ряда — она плетется в хвосте, делая вид, что ей совершенно все равно.

Но испытание будет недолгим, сестрица! Это сосредоточенное топтание позади траурного автомобиля, словно происходящее в фильме с замедленной съемкой, длится на протяжении всего лишь трехсот метров. Вот уже и церковь, задрапированная широкими черными полотнищами, по которым струятся серебряные слезы. Внушительные звуки органа, дующего в свои

самые толстые трубы, колышут стоячую воду кропильниц и спертый воздух храма, где среди столь угодного богу запаха горелого стеарина вырос густой лес свечей. «Толпы нет, но народу много», — говорил мой отец, рассказывая о высокопоставленных участниках торжественных церемоний. Сегодня именно такой случай. Мэр, поверенный, адвокат и нотариус Плювиньеков, директор местного отделения Лионского кредитного банка, генеральный советник — все они здесь: они пришли хоронить не столько бабушку, сколько вдову сенатора, в общем, его вторую половину, оказавшуюся прочнее первой. Вокруг них — с полсотни анонимов, среди которых и обычные плакальщицы с сухими глазами, старые дамы, провожающие такую же, как они, старуху в рай для рантье, обеспеченный им благодаря молитвам и заупокойным мессам, которые будут отправляться на их пожертвования, зарегистрированные в приходских книгах. Я заметил, как одна из них, увидев меня, толкнула локтем другую.

Пройдем к нашей скамье. Довольно насмехаться. От девяностолетней старухи, упрятанной в обитый атласом гроб, который выгружают из траурного автомобиля и ставят на затянутый

черным сукном катафалк, мне досталась четвертая часть моих генов. Моя бабушка Резо передала мне отнюдь не больше, а все-таки ее смерть — мне было тогда лет десять — оказалась для меня катастрофой. Со смертью бабушки Плювиньек я ровным счетом ничего не лишаюсь, и хвастать мне тут не приходится. Но ненормальное остается ненормальным, тем более что эти Плювиньеки, которые не дали мне ни нежности, ни материальных благ, наградили меня как своими физическими чертами, так и своим характером. Они надолго себя переживут — до тех пор, пока я хожу по земле. Вы меня слышите, бабушка? Где бы вы ни были, знайте, от вашей упрямой, дерзкой и цепкой породы, с какого-то времени испорченной тем, что бумажник, который ее представители носили на сердце, стал чересчур уж толстым, нить преемственности тянется ко мне, к Обэну, шепчущему мне на ухо:

— Скажи, тетя Соланж — это та, что не толще велосипеда? — И потом сразу же: — А ей все-таки не легко, бабусе-то…

Я шикаю на него, но он прав: бабуся, которую прозвали так, на русский манер, со вчерашнего дня, потому что, по мнению Обэна, она должна была бы жить где-нибудь в Сибири, раз от нее

веет на нас таким холодом, бабусе и в самом деле не легко. Ни единой слезинки, только какая-то каменная скорбь, от которой голова ее совсем ушла в плечи. Те, кто предшествовал ей, не любили ее, а теперь пустота разверзлась пред нею, ближайшей кандидаткой на кончину. Те, кто за нею следует, тоже не предлагают ей ничего: ни тепла, ни участия. Началась заупокойная служба. Но чем мертвые отличаются для нее от живых? Ее рот медленно раскрывается, словно ей не хватает воздуха. Я вижу, как она сжимает запястье Саломеи.

Она будет пребывать в прострации до самого отпущения грехов. Но вот ей приходится встать и идти вместе со всеми на кладбище… а там вдруг опять начинается балаган.

После последних взмахов кропила над разверстой могилой, над гробом — его опускали в землю с таким треском, словно кто-то ударил топором по ящику, а когда стали вытаскивать веревки, по крышке забарабанили мелкие камушки, — Марсель и Соланж, с минуту посовещавшись в тени кипариса, приняли удивительное решение: вместо того чтобы встать вместе с нами — а им пришлось бы встать *позади* нас — и выслушивать соболезнования, они становятся по другую сторо-

ну аллеи — слегка ссутулившись, с выражением скорби и с предупредительной улыбкой на лице, навострив уши и подставив щеки для поцелуев верных друзей. Компаньонка бросается к ним.

— Мадам Плювиньек этого не заслужила! — рыдает она, принятая в разверстые объятия; руки в перчатках похлопывают ее по спине.

Утешься, дочь моя! Мадам Плювиньек нас не видит, при жизни она даже не знала, что этот мир уже не принадлежит тем, кто, благодаря своему весьма почтенному состоянию, полагал, что им будет принадлежать и другой мир. Она хотела иметь все — сначала землю, а потом небо. Она этого, конечно, не заслужила… Тем временем компаньонка, намеренно не замечая нас, уходит прямая, как «i», увенчанная шляпой, словно диакритическим знаком, при этом она украдкой бросает взгляд на происходящее за ее спиной.

Увы! За ней стоит красный, раздираемый мучительными сомнениями нотариус. Если мною можно пренебречь, то в отношении матушки, его клиентки, этого делать не следует. Она может вверить свои интересы нотариусу из Соледо, который, как человек предусмотрительный, постарается к тому же, чтобы она оставила завещание в пользу достойнейшего. И вот наш

бедняга разрывается на части. Левой ногой он делает шаг в сторону матушки, кланяется ей, говорит то, что полагается, потом быстро поворачивается, правой ногой делает шаг к Соланж, которой выказывает те же знаки уважения. Тотчас отскочив назад, он оказывается передо мной, бормочет любезности и тут же кидается в противоположную сторону, чтобы выразить свои симпатии Марселю. Слава богу, справа их только двое, и потому он не рискует вывихнуть себе шею… Теперь он может семенить прочь, отвешивая легкие поклоны всем остальным, стоящим с моей стороны.

Но так как нас все-таки значительно больше, это производит впечатление на присутствующих, и не все следуют примеру нотариуса. Арно и Батист, мэр, генеральный советник совершенно пренебрегают Марселем и Соланж, так что те инстинктивно приближаются к нам; теперь, если бы их забыли, это выглядело бы просто нелепо. В конце концов они встают на расстоянии метра от нас и невозмутимо торчат там, пока потоком движутся, сменяя друг друга, соболезнующие. Марсель уставился на меня, как на стену. Впрочем, выражение его взгляда нетрудно расшифровать: «Поскольку ты отсутствовал

двадцать четыре года, ты потерял право считать себя принадлежащим к роду Резо. Тебя больше не существует. Чего тебе тут надо?» Я с ним почти согласен. Мне трудно привыкнуть снова. Наконец вот и Анна, старая служанка. Марсель снисходительно протягивает ей два пальца, произносит два слова, потом добавляет:

— Кстати, в два часа нотариус будет опечатывать дом. Готовьтесь к отъезду.

Он говорит это в отместку нам. Но я тут же отпарировал:

— Если вам некуда ехать, Анна, можете поселиться у нас, хотя бы временно.

— Я уже решила, — сказала Анна. — Я возвращаюсь в Орэ к своим племянникам.

— Пошли! — говорит Соланж и, стуча каблуками по гравию, тянет за руку своего супруга.

Марсель ведет себя сдержаннее. Он знает, что после того, как дом опечатают, производить опись имущества бывает очень затруднительно, если эксперт противоположной стороны оценит его слишком высоко. И вот он колеблется — что же делать: обвинять, обливать презрением, блюсти этикет? Но вскоре он улыбается — он нашел решение, за ним останется последнее слово.

— Церемония окончена, — говорит он. — Бла-

годарю вас.

Но он слишком понадеялся на свою собственную серьезность. У самых ворот кладбища он чуть съежился, словно подавляя желание чихнуть. Как он ни старался, все мы слышали — и в каком-то смысле это даже утешительно, — он не смог удержаться от смеха.

VI

Так как опечатывание дома должно было производиться в присутствии мадам Резо, я оставил машину Бертиль и поручил ей доставить матушку домой. Но этого оказалось недостаточно.

— Ты останешься с нами, Саломея? — спросила бабуся.

Саломея, которая собиралась ехать вместе с Гонзаго, не посмела отказать. Я же вернулся с остальными детьми в старом сереньком «рено» Батиста Форю — он живет возле моста в одном из четырех домов-башен, недавно построенных на берегу канала. У меня была срочная работа, у ребят — уроки, а Жаннэ хотел заглянуть в спортивный клуб.

И вот, три часа провозившись с корректурой, испещрив ее знаками исправлений, я услышал позвякивание чашек. Значит, мои вернулись. Они трещали, как стая скворцов, заглушаемая карканьем вороны.

— Ты спустишься перекусить? — крикнула снизу Бландина.

Я подошел к застекленной двери в домашних

туфлях и на секунду остановился. Матушка, разумеется, не двигалась с места ни на сантиметр, позволяя себя обслуживать, и ее спокойную уверенность в том, что таким образом соблюдается естественный порядок вещей, казалось, разделяли все… «Бабушка, хотите пряник?» — «Бабушка, сахарку?» — «Матушка, шоколад не слишком горячий?» Все порхали вокруг нее, словно мотыльки, а бабуся, по правде сказать очень небрежно причесанная и, вероятно, не лучше того умытая, но при этом изысканно светская, отставив мизинец, бросала себе в рот маленькие кусочки и не переставая разглагольствовала:

— Это уж точно! Я любой ценой отделаюсь от этого нотариуса. Я обращусь к мэтру Дибону, преемнику мэтра Сен-Жермена в Соледо. Завтра же поеду к нему, а вы будете так милы и проводите меня сегодня к восьмичасовому поезду.

Я отворил дверь. Едва повернув голову, она продолжала:

— Предложил мне оценить имение в ту же сумму, что и в момент смерти папы! Чтобы избежать расходов на переоценку! Да это же мошенничество… Два гектара в Рюэйле, при теперешних-то ценах на землю, можете себе представить! И какое местоположение — покупатели так и на-

бросятся! А Соланж сюсюкает: «Бабушка взяла с нас клятву, что мы сохраним дом». Ручаюсь, не пройдет и двух лет, как все будет продано.

Итак, здесь, в кругу моей семьи, она вновь повела речь о крупных деньгах, которые наряду с «великими принципами» и мелкими компромиссами всегда занимали ее семью. И снова меня охватил страх — страх, смешанный с чувством отвращения, с ненавистью беглеца к родному племени. И в то же время внутренний голос говорил: «А мы-то надрываемся, выплачивая взносы за дом. Будь у нас хотя бы треть той земли, что причитается нам по праву...» Черт побери, это ведь заразительно! Как-никак, а я тоже не прочь закусить хорошим камамбером со стаканчиком красного вина, да не какого-нибудь, а бургундского. Все это ожидало меня на круглом столике, а перед столиком соломенный стул... Хорошо, что мы еще не спим на соломе. Но сейчас я уселся на нее. Мадам Резо продолжала вещать:

— Имение теперь у Марселя — тут уж я ничего не могу поделать. Но если за парк назначат его настоящую цену, из чего же будут они выделять мне мою долю — просто не пойму. Чтобы сохранить Рюэйль и спекулировать земельными участками, ему придется продать «Хвалебное»...

Смотри-ка, ты, оказывается, здесь! Что, кончил марать бумагу?

— Уже выдал положенное число страниц? — как эхо, повторила Бертиль.

«Марать бумагу» и «выдать положенное число страниц» — это были священные формулы, избавлявшие меня от всяких восторгов. Но если под «выдать положенное число страниц» подразумевалось достойное похвалы прилежание и даже намек на два латинских изречения с розовых листков «Пти Ларусса»[8]: «Labor omnia viucit improbus»[9] Вергилия и «Nulla dies sine linea»[10] Плиния, то «марать бумагу» содержало некую оценку, вероятно относящуюся к прошлому, но во всяком случае, единственную, которую матушка когда-либо высказывала, молчаливо подразумевая при этом, что заработок есть заработок и что тут уж нельзя не считаться с пословицей: «Abusus

---

[8] Примечания: 8

*Малый иллюстрированный Ларусс (Le Petit Larousse) — французский, неоднократно переиздававшийся, энциклопедический словарь издательства Ларусс. В словаре присутствуют т. н. «розовые страницы» — переводы и толкования латинских терминов.

[9] Примечания: 9

Терпение и труд все перетрут (лат.).

[10] Примечания: 10

Ни дня без строчки (лат.).

non tollit usum».[11]

— Впрочем, Марсель очень хорошо все понял, — добавила мадам Резо. — Он уступит. Он знает, что я не дам себя обобрать.

Камамбер был что надо — никто не умеет так хорошо выбирать сыр, как Бертиль. Я наблюдал за своим маленьким мирком: Бландина скучала, Обэн дурачился, Саломея внимательно слушала, а Жаннэ был настроен явно враждебно. Произошло то, что должно было произойти.

— И вам нужна такая куча денег? — спросил Жаннэ, на лазоревый глаз которого упала белокурая прядь.

От изумления матушка открыла рот.

— Спроси у своего отца, сколько нужно денег, чтобы прожить, — сухо отрезала она. — Впрочем, эти деньги также и ваши!

Эта песенка получше! Слова «это мои денежки» никого не трогают. Когда же вы говорите: «Это деньги моих детей», то вы выступаете в роли жертвы и привлекаете к себе симпатию толпы (забывающей о предварительном условии: они получат их только после моей смерти).

— Жаннэ — чистая душа, — сказала Саломея,

---

[11] Примечания: 11
Заблуждение вовсе не обязывает воздерживаться от него (лат.).

зарешечивая ресницами свои черные глаза. — Но ест он за четверых.

Бертиль дважды прищелкнула языком: условный знак, к которому мы прибегали при посторонних, чтобы прекратить спор, наносящий ущерб доброму имени Эрдэ (Р.Д., то есть Резо — Дару, согласно вензелям, вышитым крестиком на салфетках). Матушке это доставило истинное наслаждение — она обнаружила первую трещину в нашем клане: отсутствие взаимной симпатии между двумя старшими детьми. Жаннэ встал, стиснув зубы.

— Он весь в тебя, этот мальчишка! — прошипела мадам Резо в мою сторону, но настолько внятно, что эту сентенцию можно было слышать на улице.

— Вы мне льстите, — сказал Жаннэ уже в дверях.

Бертиль строго посмотрела на меня. Мой сын всегда становится на сто процентов моим, когда что-нибудь неладно, и я должен отвечать за его выходки.

Впрочем, Бертиль напрасно встревожилась. Для Кассандры возможность прокомментировать что-либо — всегда удовольствие:

— Видишь, до чего просто воспитывать детей!

Пришла твоя очередь, мой мальчик, желаю тебе удачи! Потому что такие зверюги, как ты, прежде составляли исключение, а теперь они — правило. — И добавила, желая выразить сочувствие Бертиль: — Вам, наверно, порой бывает нелегко, бедняжка вы моя!

— Делаю, что в моих силах, — ответила Бертиль слишком поспешно.

Я нахмурил брови, отчего жена моя смутилась, а матушка просияла.

— Жаннэ будет куда опаснее тебя, — продолжала она. — Ты заставил меня дорого заплатить за твое послушание. Но твой сын ведь не станет бунтарем, он будет «активным деятелем». Для них это все равно что вступить в монашеский орден, теперь у них такая манера.

От гнева, от сознания, что осмеливаются ей противоречить, она, как прежде, становилась откровенной и прямолинейной. Раззадоренная моим молчанием, раззадоренная своим выпадом против Жаннэ, она совсем распоясалась:

— Я знаю, о чем ты думаешь, прекрасно знаю! В глубине души ты согласен с твоим вороненком. Ты думаешь, что я корыстна… Ну и что же! Да, я корыстна. В жизни никем и ничем не пользовалась. Даже когда командовала твоим отцом, я

это делала во имя его принципов и его притязаний, подкрепленных моим приданым. После его смерти меня эксплуатировал Марсель… С меня довольно. Теперь я старая недостойная дама, которая хочет воспользоваться тем, что у нее осталось.

— Я вам налью еще шоколада, матушка? — предложила Бертиль, спеша поправить положение.

— Не откажусь!

Бландина уже услужливо протягивала тарелку с пирожным. Но в тот момент, когда кувшин с шоколадом коснулся носиком чашки — трах! — он вдруг выскользнул из рук Бертиль и вдребезги разлетелся у самых ног мадам Резо, обутых в черные туфли, не чищенные уже больше года.

— Ну вот! — воскликнула Бертиль. — Опять на меня эта напасть нашла…

Она трет себе правую ладонь, прочерченную у самого запястья длинным лиловым шрамом. Удрученная, ни о чем больше не думая, она старается оправдаться перед свекровью, вокруг ног которой разлилась коричневая лужа:

— Извините меня, со мной это бывает после того несчастного случая. Время от времени большой палец вдруг подводит.

Растерявшись, она умолкает, но слишком позд-

но. Впрочем, если бы матушка и не заметила смущения моей жены, ее насторожили бы наши тревожно забегавшие взгляды. О том, что вырвалось сейчас у Бертиль, мы не говорим никогда.

— Какого несчастного случая? — ласково спрашивает мадам Резо.

Солгать при Саломее, Бландине, Обэне? Об этом не может быть и речи. Тем самым мы только подчеркнули бы значение этого факта. Лучше сказать правду, не вдаваясь в подробности, и лучше, чтобы сказал ее я.

— У Бертиль был серьезный перелом кисти.

Вернулся Жаннэ. Он, вероятно, подумал, что оставил меня в трудном положении, что лучше ему давить на стул своими восемьюдесятью килограммами, сидя за столом напротив бабушки. Он все слышал и теперь словно окаменел. Пусть даже он весьма смутно помнит о случившемся, все-таки у него есть жестокая уверенность, что он при этом присутствовал; Саломея не менее серьезна, хотя она и не подозревает, что тоже была там. Что до Бертиль, то, вместо того, чтобы броситься за тряпкой и положить конец этой сцене, она стоит, опустив руки, и не двигается с места. Матушка встала и весело шагает по шоколадной луже, осколки фарфора хрустят под ее ногами, как

кости. Она берет руку Бертиль и качает головой:

— Ну, вам еще повезло — могли остаться вовсе без руки!

Теперь она уже не сомневается: вместо того чтобы сгустить мрак, окружающий тайну, наше молчание только прояснило ее. Матушка еще не вполне улавливает связь между событиями, но можно быть уверенным: если это звено разомкнется, разомкнутся и все остальные. Деликатность, уважительное отношение к тайным ранам других людей — не ее амплуа. Толстый указательный палец матушки направлен на Бертиль… ради того, чтобы узнать, она не постесняется разворошить все. Она бурчит себе под нос, ни на кого не глядя, и таким тоном, будто не придает своим словам никакого значения:

— Значит, вы были в машине, когда погибла первая жена моего сына? Вы ее знали?

Жаннэ сжимает кулаки в карманах. Но поскольку молчать уже невозможно, Бертиль вновь обретает хладнокровие.

— Она была моей кузиной, — говорит она.

Теперь она уже твердо встает на ноги и идет за тряпкой. Разговор на этом пресекся, но вечер все равно испорчен тягостным ощущением невскрытого нарыва. Бертиль и я делаем похвальное — и

вполне очевидное — усилие, чтобы найти тему для беседы. Нас воодушевляет сознание того, что матушка уезжает с вечерним поездом. Но мы доверились старому расписанию и, усомнившись в нем лишь около пяти часов, слишком поздно позвонили в справочную Монпарнасского вокзала. Намеченный нами поезд отменен. Есть, правда, другой, около одиннадцати часов, прибывающий ночью, но на него все места забронированы для делегатов Национального конгресса цветоводов. Если матушка и попадет на этот поезд, ей наверняка придется всю дорогу стоять.

— Но я непременно должна быть завтра утром у Дибона. Тут медлить нельзя! — по крайней мере трижды повторяет мадам Резо. И делает вывод, который, видимо, вполне ее устраивает: — Послушай, если бы ты мог на два дня освободиться, проще всего было бы, чтобы ты отвез меня туда. Переночуешь завтра в «Хвалебном», а в среду вернешься.

Как отказаться? Я спрашиваю, как отказаться от приманки, если тобою вдруг овладело желание отведать ее? Решительно, я не перестаю себе удивляться. И вот уже кусты самшита с маленькими красными ягодами, широкий луг, прорезанный канавой, полной лягушек, флюгера

с сидящими на них, как на вертеле, живыми воробьями, которые поджариваются на солнце, гладкая поверхность пруда, усеянного глазками водяных лилий, — вот уже все там кажется мне таким безобидным! Я с удовольствием погляжу на все это вновь мимоходом, разумеется, только мимоходом и когда не будет рядом владелицы этих мест.

— Жаль, что Жаннэ надо возвращаться на службу, а у Бертиль на шее лицеисты, — продолжает матушка. — Они приедут в другой раз. Но мы можем взять с собой Саломею. Я вас ненадолго покину. Пойду немного отдохну. Спущусь к ужину.

Бертиль смотрит на меня как-то необычно. Саломея тоже. Ребром правой руки она полирует себе ногти на левой. Бландина, послюнив палец, прижимает его к чулку — в том месте, где спустилась петля. Наконец мы услышали наверху тяжелые шаги матери. Жаннэ встает и начинает расхаживать взад и вперед по комнате.

— Я тебя не узнаю, папа, — говорит он. — Твоя мать требует, диктует, а ты слушаешься. На кладбище мы выглядели смешно. А там на тебя будут смотреть как на диковинного зверя. Во всяком случае, мне не верится, что эта старуха желает тебе добра…

— Жаннэ! — прикрикнула Бертиль.

— …и будь я дома, когда она сюда явилась, — продолжает Жаннэ, — я мигом препроводил бы ее обратно в лодку!

Тут поднялась Саломея — и так стремительно, что грудь ее под кофточкой дрогнула. Облизнув губы кончиком языка, она возмущается:

— Препроводил бы обратно, не спросив нас? По какому же праву?

Ее довод попал в цель. Жаннэ корректирует стрельбу:

— Не один я думаю, что к нам возвратился дьявол! Ей некому было больше вредить, стало скучно, и она явилась сюда разыгрывать прощение всех обид… Да что говорить! Достаточно посмотреть, в каких она теперь отношениях с дядей Марселем, она просто сменила объект своих нападок.

— Ну, что касается дяди, то он сам этого добился, теперь пришла его очередь, — сказала Бландина. — А я вовсе не прочь познакомиться с бабушкой. Разумеется, она не святая, но, что ни говорите, она первая пришла к нам, а не наоборот.

— Я бы скорее стыдилась этого, — сказала Саломея. — Кто должен был сделать первый шаг, мы или она?

— Во всяком случае, на похоронах было забавно! — сказал Обэн.

— А тебя не пугает, что на похоронах кого-либо из членов семьи может быть забавно? Неужели ты будешь забавляться на папиных похоронах?

Тут они все испуганно уставились на меня, а мне стало тепло от этих взглядов. Но не для того ли Саломея выбрала в качестве примера не свою мать, а меня, чтобы не вообразить самое для себя ужасное?

VII

Хотя прямо посреди Мана у меня лопнула шина, которую мне пришлось менять с помощью Саломеи — при случае она умеет помочь не хуже взрослой, в то время как матушка докучала нам своими советами, сожалея о старых, надежных домкратах, заляпанных черной колесной мазью, сразу превращавшей холеные белые руки господина судьи в руки плебея… Хотя вдова вышеназванного судьи хотела сделать кое-какие покупки и потому просила меня ехать торговыми, а стало быть, самыми людными улицами Сегре, где мы встретили множество изумленных женщин, кивавших нам головой, и мужчин, которые приветствовали нас в два приема, то есть слегка приподнимали шляпу при виде матушки, а глядя на меня, не очень любезно нахлобучивали ее на голову… Хотя мы посетили мэтра Дибона, надутого и молчаливого, весь дом которого утопал в стеганых обивках — и дверь, и стены, и кресла, и сам нотариус, отягощенный складками жира и ухитрявшийся, косясь одним глазом на матушку, а другим на грудь Саломеи, разглядывать еще и

меня и одновременно почесывать себе колено, размышляя о неожиданных переменах, происходящих в семьях… Хотя наш край, Анжуйский Бокаж, стал уже не так красив: живая изгородь местами раздавлена бульдозерами, трава со всех сторон осаждает последние купы старых деревьев, а ангары, крытые рифленым железом, уродуют пейзаж, — но зато всюду: от болота до болота, от проселочной дороги до узкой тропки, затерявшейся между откосами, — видны свидетельства торжества ферм над замками… Хотя, проезжая мимо изредка встречавшихся каменных ворот, свежевыкрашенных в белый цвет, за которыми виднелись расчищенная аллея, ряды сосен, вздымающие к небу свои два кубометра деловой древесины, а дальше — большие черепичные крыши, фасады в стиле Людовика XVI без единой царапины, хотя, проезжая мимо всего этого, присутствовавшая на борту моего сухопутного корабля владелица замка замечала: «Ну, ясно! Ведь эти де Гламоты во время войны торговали на черном рынке!..» Или: «Ну, ясно! Замок Гонтронов купили американцы, а те вышли из игры…» Хоть на подступах к «Хвалебному» мы не встретили ни одной знакомой мне фермерши, которая, как прежде, гнала бы на водопой корову, потряхивая

пучком волос на затылке… — словом, несмотря на ощущение, что я старею, охватывающее всякого, кто наталкивается на перемены, пытаясь вновь обрести себя среди того, что осталось от былого, наше путешествие прошло совсем не плохо.

— Барбеливьены в свое время держали пять бретонок, — сказала матушка у последнего поворота. — Жобо держат восемь нормандок и разводят табак. Ты увидишь, они превратили ригу в сушилку.

Опять победа фермеров, — победа, в жертву которой принесено все! Место стало неузнаваемым. Парк исчез, за исключением нескольких платанов: их древесина ничего не стоит. Исчезли ограды вокруг участков — вместо них стоят деревенские изгороди: вбитый в землю кусок рельса чередуется тут с каштановым колом или расколовшимся цементным столбом, кое-как обмотанным ржавой железной проволокой. Океан зелени с островками навозных лепешек подступает к самым домам, и на поверхности его видны лишь легкие извилины протоптанных тропок. Я поставил машину среди этой травы, у каркаса большого строения, где когда-то была оранжерея. В ней не осталось ни одного стекла, лишь несколько осколков застряло в уголках

рам, обвитых пышно разросшимися побегами глицинии. Тут же валялись куски черепицы и туфа, свидетельствовавшие о плачевном состоянии нашего дома: стены покрылись трещинами, а крыша, подозрительно вздувшаяся оттого, что стропила, вероятно, прогнили так же, как и дранка, поросла мхом и лишайником. В сломанных ставнях не хватало половины планок, а слуховые окошки наверху, окаймленные облупившимся кирпичом, превратились в зияющие дыры, куда прямиком влетали воробьи.

— Что я могу поделать? — сказала матушка, подчеркнуто обращаясь к Саломее. — Твой дядя Марсель не дает на ремонт ни одного су. — Потом, сложив руки рупором, она закричала в сторону речки Омэ: — Фе…ликс! Мар…та!

Тут я заметил фермеров, которые большими граблями сгребали листья для подстилки. Мужчина не двинулся с места, а только поднял руку. Женщина, толстуха, на которую была натянута блузка, неторопливо направилась к нам.

— Это Марта Аржье, из «Бертоньера», — объяснила матушка.

— Хорошо съездили, мадам? Дать вам ключи, мадам? — крикнула Марта, подойдя на расстояние десяти метров.

При всей ее осторожной сдержанности, маленькие поросячьи глазки и выпяченные вперед губы фермерши говорили о жадном аппетите к новостям.

— А ведь и вправду это мсье Жан, — продолжала она. — Я была совсем крошкой, когда он отсюда уехал, а все-таки сразу его узнала. Намедни я говорила Феликсу: едва лисенок завизжит, его и след простыл! А эта симпатичная барышня, кто ж она есть? Жаль, нет у меня времени. Пойдемте же, мадам, я отдам вам ваше добро.

Фамильярность тона, некоторая небрежность формы обращения красноречиво свидетельствовали о перемене в отношениях между хлевом и салоном. Но здесь, вероятно, было и нечто другое.

— Я всегда оставляю ключи Марте, когда уезжаю, — сказала мадам Резо. — Подождите меня минуточку.

Минута растянулась на четверть часа. Мне странно было вновь очутиться здесь и еще более странно то, что окружающее не казалось мне чужим, напротив: я словно бы *вернулся* домой, и вместе с тем меня коробило от одной мысли, что я связан с этими руинами, что я вышел из этого отжившего свой век, поблекшего мирка,

к которому, однако, меня непреодолимо влекли отроческие воспоминания: Воспоминания! Они как засахарившееся варенье!

Я медленно обошел правый флигель дома и попал во внутренний двор, где от прежних огромных цветников уцелел только один гинериум с пышными метелками листьев, росший среди усеянной птичьим пометом глинистой пустыни, по которой бродили куры разных пород. Издали я увидел тетушку Жобо с мешком на спине, которая вышла из своего дома и исчезла в доме напротив; следом за нею шла матушка, бережно неся большую жестяную коробку в форме куба — из тех, что предназначены уберегать от сырости уложенное в десять слоев печенье. Я знал, что обе женщины сейчас будут отпирать двери: дверь внизу, ведущую на лестницу, затем дверь на площадке, потом дверь в переднюю — и попадут наконец в святая святых — спальню мадам. Саломея, стуча зубами от холода, в изумлении смотрела на этот ряд полуразвалившихся строений, на эти башенки, вонзающиеся в серый туман, уже спускавшийся на пастбища.

— Как она тут живет? — сочувственно сказала девушка. — Она разорена, у нее ничего не осталось, это сразу видно.

Каблуки Марты Жобо уже стучали по лестнице. Лучше было ответить вполголоса:

— Если говорить о доходах, детка, то ты отчасти права, хотя кое-что твоей бабушке дает ферма, к тому же она получает половину пенсии твоего дедушки и еще небольшую ренту. Но ведь ты сама видела мешок и коробку от печенья. Опасаясь пожара, бабушка при каждой отлучке отдает их на сохранение фермерше. Так вот представь себе, что там на несколько миллионов ценных бумаг и фамильных драгоценностей.

А зачем, в сущности, делать вид, будто для меня это тайна? Фермерша вышла. Потирая руки, я бросил:

— Все в порядке? Сокровища в целости и сохранности? Можно подниматься, мадам Марта?

Лицо тетушки Жобо на миг замкнулось. Что это, рефлекс преданности? Уважение к чужой тайне? Потом ее маленькие глазки засветились дружелюбием — видно, потому, что я назвал ее «мадам Марта». Она засмеялась.

— С ума сойти, мсье Жан. Представляете, вдруг все это сгорит у меня в доме? Меня просто дрожь берет, когда я думаю об этом. Двадцать раз я ей говорила: ведь существуют же банки! Но если положить в банк, отвечает она, то после моей

смерти это будет поделено между всеми. А я хочу отдать тому, кому мне захочется. А потом, скажу вам правду: она перебирает их, свои бумаги, ласкает, отрезает по одному купончику… Для нее это развлечение. Что ей еще остается, кроме разговоров со мной после воскресной мессы да по вечерам? Единственная приятельница, к которой она ходила в базарные дни в Сегре, мадам Ломбер…

— Мадам Ломбер?.. — воскликнул я, совершенно ошарашенный тем, что так поздно открыл столь простое объяснение.

— Да, она уехала. Мсье Марсель больше не появляется. Он рассердился на мадам: она спиливает деревья, продает мебель… Ну а дети его, что им здесь делать? — Она секунду помолчала в нерешительности, потом стала выкладывать дальше: — Однажды — было это уже давненько — мадам залучила к себе на две недели Розу, его старшую дочь. Бедняжка! Она умирала от скуки. Есть всякую дрянь, без конца выслушивать замечания: «А ну, держись прямо! Надо говорить: „Да, бабушка, благодарю вас, бабушка!“…» Через пять дней девчонка стащила у нее ассигнацию и удрала. Я и сама не люблю, когда мои ребятишки болтаются возле замка. Иной раз ей и хочется,

чтобы они пришли, она ходит вокруг них, как наши мужчины вокруг какой-нибудь машины — до того охота заглянуть, что там внутри. Но это ей быстро надоедает, она начинает браниться, кричит. Однажды поймала моего мальчишку и давай щипать его за руку, да еще с вывертом. Ничего не скажу, сорванец обозвал ее старой козой. Но уж это мое дело надавать ему подзатыльников.

— Так вы тут сплетничаете? — раздался вдруг громкий бас моей матушки, высунувшейся из окна.

— Это я разболталась, — крикнула Марта и добавила: — Феликс меня ждет, побегу. — Но сама не сдвинулась с места и зашептала мне на ухо: — А все-таки никак она не привыкнет жить одна. Вот уж десять лет твердит, что поедет повидаться с вами. Все искала подходящий повод… Выходит, правда, что мсье Марсель прибрал к рукам наследство?

Я только наклонил голову и пожал плечами. Марта даже не улыбнулась: уступать то, что принадлежит тебе по праву, в глазах крестьянки преступное легкомыслие. Но она промолвила назидательным тоном:

— Что уж тут оплакивать потерянное добро, надо его своим потом добывать. Этак будет вер-

нее. — И тут же, возвращаясь к практическим вопросам, добавила: — А поесть вы с собой привезли? В гостях-то мадам наедается досыта, от нее же, кроме вареной картошки, ничего не дождешься… А средство против блох у вас есть?

Я снова только кивнул: я знал этот дом. И решительно перешагнул через порог.

Уже в дни моей молодости дом в «Хвалебном» сильно обветшал; теперь же разрушения стали еще заметнее. «*Дом превращается в лабиринт пещер*, — писала мадам Ломбер. — *Ваша матушка пользуется только своей спальней*». Во мраке передней, куда сквозь щели в поломанных ставнях проникало достаточно света для того, чтобы можно было через нее пройти, мы ступали по выпавшим плиткам пола, по валявшемуся здесь какому-то тряпью, которое никто и никогда не убирал, по сухим листьям, должно быть, занесенным ветром, поддувавшим под дверь. В комнате почти не осталось мебели; отклеившиеся местами обои висели клочьями; гравюры в рамках были так засижены мухами, что невозможно было понять, каков их сюжет.

— До чего же мрачно! — прошептала Саломея, прижимаясь ко мне.

Я толкнул ногой дверь в полутемную столовую,

которая, как и гостиная, и вся анфилада комнат, окнами выходила на теплицу. Красивый камин, облицованный глазурованными плитками, разрисованными моим прапрадедом-художником, был невредим. Но в воздухе стоял какой-то неопределенный запах — не то сырости, не то тления; зелень деревьев, вытканных на обюссонских коврах, висела клочьями, а роспись потолка, деревянная обшивка стен, стоявший посреди комнаты огромный стол с гнутыми ножками, шкаф в стиле ренессанс, сервировочный столик в стиле Людовика XIV, настоящий, и напротив него второй, скопированный позже, после очередного раздела имущества, — все было покрыто тонким беловатым слоем плесени. По прогибавшимся под ногами паркетинам я прошел через большую гостиную, потом через малую — всюду не хватало мебели, всюду царила сырость, разрушавшая то, что еще уцелело.

— Уж очень тут неприятно пахнет! — сказала Саломея, когда мы вошли в кабинет. — Не могу больше, я открою окно.

— Если сумеешь! Рамы заклиниваются, и закрыть их потом еще труднее, — сказала мадам Резо.

Она спустилась по другой лестнице и ждала

нас здесь, усевшись в углу на сундуке для дров, неподвижная, как сова в привычном для нее полумраке…

— Кстати, начиная отсюда и дальше в доме есть электричество. Я велела сделать проводку в пяти комнатах.

Щелкнул выключатель — и «стал свет», скупой, тусклый; лампочка в пятнадцать ватт освещала комнату площадью в тридцать квадратных метров, отчего она показалась еще более пустой: по стенам, как и прежде, тянулись стеллажи, но на них не было ни одной книги.

— Мне пришлось продать библиотеку, — сказала мадам Резо. — Все равно ее ели черви и мыши. Да и к чему теперь мне книги? Из-за катаракты я стала очень плохо видеть… Я отведу вас в ваши комнаты.

Поднимаясь по лестнице, я заметил на площадке слева проем, заложенный кирпичом: чтобы упростить дело, мадам Резо велела замуровать комнаты в этом конце дома. Она предложила мне спальню в стиле ампир, а Саломее комнату епископа, в которой девушка сразу же распахнула ставни. У каждого из нас на кровати лежали пара тонких, как кисея, сероватых простынь и наволочка столь же сомнительной белизны — ре-

зультат полоскания в мутных водах речки Омэ.

— У меня здесь нет такого комфорта, как у вас, сами знаете, — заметила хозяйка. — Воду, девочка, найдешь в кувшине, дрова — в корзине. В семь часов я позвоню в колокол…

— Пожалуйста, не беспокойтесь ни о чем, — сказала Саломея. — Ужин я приготовлю.

— Это не дитя, а просто ангел! — воскликнула мадам Резо.

Она исчезла, словно ее всосал в себя бесконечный коридор, ведущий вдоль мансард в другие жилые комнаты, которые она себе оставила. Я прошел следом за ней метров десять, чтобы посмотреть, во что превратилась моя бывшая берлога, но нашел там лишь две кучки картофеля, пустившего длинные лиловые ростки. Рядом, в бывшей ризнице, источали аромат разложенные там яблоки ранет вперемешку с кальвилем. Но часовня в башенке была на замке. Я вернулся в комнату в стиле ампир, где Саломея при помощи газетной бумаги и щепок растапливала печь.

— Почему, интересно, твоя матушка так держится за этот дом? — спросила она. — В небольшой теплой квартирке в городе ей было бы в сто раз лучше, чем в этом полуразвалившемся замке!

— Твой дед ответил бы на это: «Мы жили здесь при Людовике XVI». Довод вроде бы довольно зыбкий, но для некоторых он основательнее, чем капитальная стена. Половина здешнего кантона еще принадлежит людям этой породы.

— Разгорается, — сказала Саломея, запихивая в печь последний номер «Курье де л'Уэст».

— Вот и хорошо! Это первый этап. Теперь прогоним мух.

— Что? — в ужасе воскликнула Саломея. Я обнял ее.

— Ах ты, горожанка! Разве ты не знаешь, что осенью мухи улетают с полей и на зиму переселяются в плохо защищенные дома, где уютно зимуют, сидя за мебелью? Когда топят печи, они от тепла просыпаются. Так вот второй этап: ты заходишь в комнату, опрыскиваешь все дезинсекталем, потом выходишь и ждешь, чтобы яд хорошенько подействовал. После ужина — третий этап: надо подмести пол, стараясь по возможности не давить мух ногами. Однажды я сам видел: их собрали целое ведро. Но зато у гостя по крайней мере есть надежда выспаться.

Сколько раз мы «приготовляли» таким вот способом комнаты для нежданных гостей, когда, бывало, зимой внезапно к нам заезжали протоно-

тарий или баронесса. Полчаса спустя все уже шло по обычной программе: в натопленных комнатах, среди адского жужжания бессчетного множества мух (Musca domestica,[12] круживших вперемешку с большими синими мухами и даже со слепнями), я снова наполовину опорожнил флакон дезинсекталя. Не упустил из виду и паркет, по которому прыгали подозрительные черные точки. Потом сошел вниз помочь Саломее, пораженной отсутствием удобств — явлением вполне обычным для здешних хозяек.

— Как можно жить без водопровода? Все грязное. Ни одной чистой кастрюли. Достань-ка наш дорожный набор.

Я принес. Мы наскоро вытерли стол и поели на уголке из алюминиевых тарелок в двух метрах от стенных шкафов, набитых фарфоровой посудой, столь же драгоценной, сколь и грязной. Уже темнело. Сначала матушка бродила вокруг нас со своим фонариком в руке, потом у нее начались затяжные приступы кашля; она поднялась к себе и легла спать, не поужинав, только попросила Саломею зайти к ней пожелать спокойной ночи. В восемь часов мы тоже поднялись в свои

---

[12] Примечания: 12
Муха домашняя (лат.).

комнаты, вымели мух, перетряхнули матрацы, вытерли мебель, усеянную мухами, дохлыми или еще вяло трепетавшими крылышками. Когда мы вошли к матушке, она лежала с открытым ртом и храпела при мерцающем свете ночника, под строгим взглядом моего папы, который, в судейской шапочке, с медалями на мантии, взирал с высоты своей рамы на закопченное логово, где почивала пережившая его супруга. Над ночным столиком я заметил распятие из черного дерева с отломанной рукой у Христа и чашу для святой воды, совершенно сухую, где поблескивала связка ключей. Мы тихо вышли. Саломея легла и очень быстро уснула. Через некоторое время, услышав, что у матушки снова начались приступы кашля, я в пижаме направился к ней.

— Это ты? — прошептала она.

Я подошел, послав вперед кружок света своего карманного фонарика.

— Пусть Саломея не беспокоится! — сказала она. — Это просто легкая эмфизема. Но скажи мне… — Она села в постели и, как-то странно глядя на меня, повторила: — Скажи мне… Ты действительно женился на Бертиль семнадцатого декабря? Я сейчас нашла эту дату в одном старом письме.

Мне ничего не оставалось, как ответить «да». Она продолжала в полумраке, теребя пряди своих волос:

— Это любопытно, я никогда не сопоставляла даты. Я думала, что прошло два года, но ведь несчастный случай произошел за одиннадцать месяцев до твоей женитьбы. Ты очень скоро женился вторично.

— У меня ведь был Жаннэ, — ответил я, быть может, излишне рассудительно.

И ушел к себе, думая: «Поделом мне! Не надо было приезжать!» Я закутался во влажные простыни, но все равно не смог ни заснуть, ни помешать нескольким особенно живучим мухам, на лету боровшимся со смертью, в конце концов упасть среди ночи прямо мне на физиономию.

VIII

Мы смешны — вот что больше всего меня пугает в нашей семье. Представить себе только во второй половине двадцатого века, что ты происходишь от этой смеси мелких дворянчиков-ультрамонтанов[13], священнослужителей в цветных сутанах, от этих пузатых толстяков, живущих за дверьми с золочеными табличками и ценимых в зависимости от того, во сколько оценивается их имущество; что ты родной внук депутата-консерватора, сведения о котором во время выборов газеты давали в столь лестном для него сокращении: «Фердинан Резо, кон.,[14] 37489 голосов, *избран*» — словом, что ты последыш, родившийся среди каких-то обломков девятнадцатого века, вклинившихся в двадцатый… — это удручает.

Отсюда и мое бегство, и мои колебания — да-

---

[13] Примечания: 13

*Ультрамонтанство — направление в католицизме, отстаивающее идею неограниченной верховной власти Римского папы, его право вмешиваться в светские дела любого государства.

[14] Примечания: 14

Сокращение от слова «консерватор», по-французски «con» означает «дурак», «болван».

же спустя столько лет, стоит ли возвращаться в родные места? Впрочем, мне нечего было тревожиться: все они умерли и лежат в земле — и сами они, и их слуги. Склеп графов Соледо в жалком состоянии; заброшены склепы и четырех других семейств, которые владели всеми землями этого прихода. Жанни и Симон, чета Аржье, садовник и полевой сторож Перро — все они покоятся в одной ограде; их могилы, давно заброшенные, усыпаны бусинками с заржавленных венков. Мне приятно, что неподалеку от претенциозного надгробия мэтра Сен-Жермена еще свежая могила Мадлен, вся сплошь в хризантемах. Мне приятно, что могила моего отца, который сначала был похоронен в Сегре (в нашем склепе уже не оставалось места), а потом перевезен Марселем в Соледо, являет взору лишь мраморную плиту (да и то из искусственного мрамора) с лаконичной надписью: «СЕМЬЯ РЕЗО».

На могиле ни единого цветочка. Прежде чем уйти, я наклоняюсь за круглым камушком и кладу его над словом «семья». «Только твердое устоит твердо», — говаривали крестьяне, обтесывая гранитные плиты для своих могил. Если вы где-то существуете, папа, то взгляните: сюда приходил один из ваших сыновей.

Я спускаюсь по дороге, ведущей к плотине. Заслышав мои шаги, две или три головы на мгновение высовываются из-за живой изгороди. Потом щелчок хлыста, рассекающего утренний воздух, и обычные ругательства — значит, чья-то упряжка снова тронулась с места. Кое-где тарахтят тракторы, но свои крохотные поля крестьяне пашут еще на лошадях, оставляющих вдоль борозды кучи горячего, дымящегося навоза. Облака спустились низко — они плывут, они движутся от Сегре к Верну, и в ту же сторону клонятся трепещущие тополя, неуклюже подрезанные садовым ножом; с их верхних ветвей свисают ростки омелы — недосягаемые рождественские подарки, которые достаются одним дроздам, лакомящимся липкими белыми ягодами. И вдруг зазвонил колокол…

Колокол! Я слышал много колоколов, но звук этого я узнаю среди тысячи. Я забыл, что в прежнее время распорядок дня был более торопливым и соблюдался строже — мы от этого отвыкли, — и думал, что успею прогуляться до того, как проснутся мои дамы. Но мадам Резо, хотя делать ей нечего, продолжает по старой привычке жить по солнцу: она садится за стол в половине седьмого утра, потом в половине двенадцатого, потом

в половине седьмого вечера. Сбежав с откоса, я иду прямиком по широкому лугу. Нормандские коровы, опустив головы и время от времени облизывая языком ноздри, жуют густую для этого времени года, сочную траву без примеси мха иди осоки. Они бредут по пастбищу, покачивая розовым выменем и медленно переступая шерстистыми ногами, на которых не увидишь ни единого комочка навоза. Хороший хозяин этот Жобо, только уж очень мало у него земли. Он давно заметил меня, но крепко держится за ручки своего красного мотокультиватора и продолжает окучивать в огороде капусту. Вот что важно, и я уверен в этом так же, как и он: сила перешла от землевладельца к арендатору. Земля, подобно женщине, принадлежит не тому, кто считает ее своею, а тому, кто ею овладевает.

Колокол звонит во второй раз, теперь уже более продолжительно. Я вхожу в кухню, где пахнет пригорелым молоком. Саломея повисла на веревке колокола и заливается смехом.

— Ну, звони, звони, — говорит матушка, вертя ручку кофейной мельницы. — Все в Соледо будут ломать голову, кто же это ко мне приехал.

Всклокоченная, в стоптанных шлепанцах на босу ногу, в старом, заплатанном халате, она ли-

кует, она словно расцвела в этом грязном тряпье и лучится всеми своими морщинами. Ее неравнодушие к Саломее становится все более явным. Впервые я спрашиваю себя: уж не хотелось ли ей иметь дочь?

— Ты, вероятно, был на кладбище, — говорит матушка. — А мы ходили к Марте за молоком.

Она смеется, глядя на свою внучку.

— На обратном пути, — сказала Саломея, — я опрокинула кувшин, и мы снова пошли за молоком… — она смеется, глядя на бабушку, — …которое убежало, пока мы тут рассматривали старые фотографии тридцатилетней давности.

Обе они смеются, словно подключенные друг к другу. Мадам Резо, видимо не столь уж безболезненно преодолевая свою скупость, весело заканчивает:

— Марта только что сняла сливки. Молока у нее больше нет. Но ее мальчишка сведет Саломею в «Бертоньер»… А в колокол я позвонила, чтобы узнать, какие у тебя планы.

— Я же сказал: после завтрака мы уедем. Мне надо быть в Париже самое позднее в два часа.

— Тогда иди быстрее, моя кошечка.

В устах мадам Резо такие нежности! Она и сама от удивления облизывает зубы кончиком языка.

Заботливость так и рвется из нее наружу, и она кричит вдогонку Саломее, уже направившейся к ферме:

— Раз ты все равно туда идешь, скажи Марте, пусть приготовит корзину яблок.

Во что, однако, обойдутся мне эти яблоки? По тому, как она смотрит вслед Саломее, по ее улыбке, постепенно тонущей в серьезности лица, я уже догадался, что матушка все поняла. Она снова взялась за ручку своей старой кофейной мельницы и, заглушая шум, кричит:

— Прости, что я возвращаюсь к этому. Но имею же я право знать. Мне не хватало одной даты — даты рождения Саломеи. Она мне сейчас сказала ее. Несчастный случай произошел в январе, девочка рождается в мае, ты женишься на ее матери в декабре. От кого же Саломея?

Несчастный случай — и как реальность, и как воспоминание — переживается всего за несколько секунд, но эти несколько секунд странным образом растянуты, они протекают в каком-то другом времени, не в том, которое показывают наши часы. Габриель, брат Батиста, передал мне руль — просто так, чтобы доставить мне удовольствие. С бензином пока еще трудно, поэтому после войны мне редко приходилось водить ма-

шину. Грузовик, идущий впереди, мчит по дороге на Малерб со скоростью около ста километров в час между двумя рядами деревьев и кустарника, от мороза превратившегося в щетки. Габриель сидит справа от меня, и месту его суждено сейчас снова оправдать свою репутацию места смертника. За спиной Габриеля — моя жена, Моника, позади меня — его жена, Бертиль, беременная на шестом месяце. Жаннэ спит, зажатый между двумя кузинами. И вдруг машина теряет управление, начинает скользить…

— Не тормози! — кричит Габриель, но *слишком поздно*.

Вода из лопнувшей трубы деревенского водопровода покрыла дорогу ледяной скатертью. Машина метнулась к обочине, наискосок врезалась в платан. Ни единого крика. А самый удар словно бы расслоился: с правой стороны захрустело, разламываясь, листовое железо, одновременно хлынул дождь плексигласа, и, визжа на одной пронзительной ноте, в воздух взметнулся какой-то металлический предмет — уже потом, метрах в сорока отсюда, нашли совершенно целый багажник с крыши машины.

Вот и все. Я стал вдовцом, Бертиль тоже овдовела. Здоровой рукой она обнимает Жаннэ,

которого спасла, закрыв своим телом. Она в ужасе повторяет:

— Мы одни.

Я слышу ее голос, вижу ее отражение в зеркальце и вижу перед собой уходящую вдаль траурную ленту гудрона. Но моя грудная клетка в нескольких местах продавлена. Я не могу говорить, я едва дышу. Чтобы нас извлечь, чтобы увезти нас в тот леденящий холод, который так долго будет окружать меня, пришлось развороти́ть крышу машины. Вслед за «скорой помощью» пришел автофургон, и в него — потому что я затормозил, вероятно, потому, что я затормозил, — задвинули покрытые пледом две пары носилок. И произошел какой-то немыслимый обмен, обмен партнерами между мертвыми и живыми. Ни я, ни Бертиль не могли оставаться в одиночестве. Был шестилетний ребенок; был другой, еще не родившийся; и то, чего лишился каждый из нас, было ему возвращено другим… «От кого же Саломея?» От судьбы.

Все это я только кое-как объяснил этой старой даме, и она вот уже минут десять сокрушенно качает головой. Насколько упорно она стремилась узнать, настолько спокойно, по видимости, приняла она это открытие. Преемственность

по женской линии? В нашей семье это не ново. Теперь матушка посвящена в важную тайну, но это ставит ее на равную ногу с Бертиль. Что до Саломеи, то тут нет никакого сомнения: в глазах матушки она ничего не потеряла, напротив, мадам Резо с тем большей радостью могла теперь называть ее своей внучкой.

— Ты хорошо поступил, — повторяет матушка. — Только вот никак не пойму, зачем надо было так тщательно скрывать это от меня?

Впервые матушка одобряет мой поступок, но боюсь, что она меня неверно поняла. Что она думает? Я отнюдь не считал себя обязанным жениться на Бертиль, я не исполнял тут никакого долга. Просто каждый из нас нашел прибежище в другом.

— Девочка знает? — спрашивает матушка, поглядев наконец мне прямо в лицо.

— Поневоле! Она одна носит фамилию Форю.

Хоть и поздно, но — и это тоже впервые — матушку, без видимой задней мысли, занимает что-то для меня важное. Она шепчет:

— Я хотела спросить: знает ли она, как погиб ее отец?

— Да, но без подробностей.

Неопределенное движение рукой, сопровожда-

ющее мой ответ, достаточно многозначительно: «подробности» — это моя ответственность за несчастный случай, впрочем спорная. Не могу сказать, к добру или к худу, что Саломея ни о чем не догадывается. Она не думает об этом. Нам не хотелось отравлять ей жизнь и отвращать от того, кто воспитал ее как родную дочь (с тем большей охотой, что, кроме Батиста, никого из Форю не осталось, так же как у Жаннэ не осталось никого из Арбэнов).

Через несколько минут Саломея придет сюда, она будет суетиться с мягкой непререкаемостью, которая подчиняет ей всякого, и матушка, любуясь ею, забудет о своем стынущем шоколаде. Я всегда знал ее ненасытную жадность: к деньгам, к власти, к почестям. Но совсем иную жадность выражает трепет ее лиловых губ и этот вожделенный взгляд, брошенный на быстрые молодые колени, на нежный изгиб юного плеча. Когда настанет время отъезда, матушка, взяв с Саломеи слово вернуться, наденет ей на руку тоненький девичий браслет; потом она как бы невзначай обратится ко мне с таким наивным в своей прозрачной хитрости предложением:

— Кстати, если хочешь, я сдала бы тебе флигель. Его надо привести в порядок, и вы могли бы

приезжать сюда на каникулы.

IX

Уф! Как приятно наконец вернуться домой после двухнедельной экскурсии в прошлое. К своим недостаткам привыкаешь; труднее свыкнуться со своими противоречиями, со своей тоской по былому. Я, между прочим, убежден в том, что есть три категории людей: сущность одних исчерпывается тем, что они имеют, сущность других — тем, кто они есть, и сущность третьих — тем, что они делают. Ничего не имея, будучи никем, я выражаю свою сущность этим последним глаголом, и, глядя вокруг на энтузиастов, новаторов или догматиков трезвым взглядом ремесленника, я никогда не ищу в белизне бумаги или простынь ничего иного, кроме прибавления работы или прибавления семейства — одно влечет за собой другое, хотя порою надо все начинать заново, а порою постигает неудача. Я хочу заткнуть дыру, хочу отрицать, что мне чего-то не хватает. Хочу приблизиться к норме. Но все это возможно лишь при решительном отказе от того, что меня породило. Я боялся за свою целостность. Именно в этом по возвращении домой я в первую очередь

признался Бертиль.

— Не вижу оснований, — сказала она, поправляя мне галстук. — Ты ведь давно уже не тот, каким себя воображаешь.

Я застал ее, как всегда, за работой: она постукивала на «ундервуде» у меня в кабинете. Горение, азарт, присущие людям в двадцать лет, Бертиль не свойственны. В жизни для нее всего важнее семейное согласие, комфорт спокойное, почти притупившееся чувство удовлетворения, которое, кажется, приходит само собой, но на самом деле требует от нее постоянной заботы. Бертиль — фея машин: стиральной, гладильной, швейной, вязальной. Она богиня миксеров, мельниц, взбивалок, мешалок, а также пишущей машинки и фотоувеличителя; она знает все о кнопках, о перезарядке, о сроках действия, о том, когда и куда надо закапывать масло. Всегда причесанная, холеная, она одновременно хозяйка, кастелянша, кухарка, воспитательница, машинистка, секретарь, делопроизводитель и счетовод — и все это на дому, стало быть не тратясь на дорогу и не теряя лишнего времени, но зато и не получая никакого жалованья. К счастью, она умеет заставить мужа, сыновей и дочерей помогать по хозяйству: они приучены вносить — почти безропотно

— свою лепту в дела семьи. Оправившись после несчастья, Бертиль быстро наладила домашний быт, вновь обрела душевное равновесие, а мне оставалось лишь приспособиться к ней. У нее хорошее здоровье, легкий нрав, она мила, иногда и серьезна, не лишена чувства юмора. Добавим, что выглядит она моложаво: умудрилась в свои годы не прибавить ни грамма веса, у нее нет ни одного седого волоса, а груди еще такие крепкие, что колют ладони. Она очень хороша в постели, но шепчет: «Как хорошо!» — когда ждешь от нее: «Я тебя люблю». Она торжествующе обыденна, как вода из крана, забывающая о том, чем она обязана чуду родников.

Я ценю Бертиль. Враждебность матери, гибель Моники дважды лишали меня самых больших привязанностей, и — если не считать отцовских чувств — я довольствуюсь теперь компромиссами. Я тоже стал обыденным, как электрический ток, к которому подключают лампу на потолке. И в жизни, и в мечтах главное для меня — что-то производить на свет: либо детей, либо литературные персонажи, невзирая на риск, с которым это связано в наше время, когда первые вступают в споры, а вторые вызывают споры, так что и те и другие могут одурачить меня в третий раз. Но

что поделать? Наши порождения предназначены не для нас. Чтобы оправдать свое существование, мне достаточно приносить плоды.

Жизнь вошла в привычную колею. Прошла неделя, а из «Хвалебного» не было никаких известий; впрочем, мы и сами ничего не сообщали туда. Но в доме как будто действовал чей-то дурной глаз. Жаннэ, уже на последнем месяце службы, понизили в звании и посадили на губу из-за того, что он повздорил со своим капитаном. У Бландины был жар, она томилась в постели с жестоким гриппом, осложненным воспалением лобных пазух, да еще таким стойким, что пришлось ввести ей в нос трубочки. Ветер переменился, стояли сухие морозы, и, пытаясь сломать лед маленького бассейна, чтобы вытащить из него золотых рыбок, Обэн умудрился вывихнуть себе ногу. Только Саломея была здорова, она вовсю помогала матери, ухаживая за братом и сестрой, по крайней мере когда бывала дома. Но дома она оставалась все реже и реже. Ее дружок Гонзаго беспрестанно появлялся у калитки со своим «триумфом». Чаще всего он не заходил в дом, а просто давал о себе знать прерывистым гудком. Иногда даже свистел. Я ничего не имел против этого парня: сын одного из лучших врачей нашей округи и сам

студент-медик, он очень хорош собой, модно одет — пожалуй, даже слишком модно; у него, по-видимому, много денег — пожалуй, слишком много. В его несколько развязной манере держаться, в его равнодушии к родителям любимой девушки нет ничего особенного, ничего исключительного для нашего времени. Я не мог бы точно определить, почему же он все-таки мне не по душе. Но прелесть Саломеи, все более сочная, пышная, окутанная смятым шелком и ароматом духов, уже становилась прелестью женщины. Ее скрипка изменила звучание, стала исполнять другие мелодии. Очень редко бывая дома, Саломея либо говорила что-то односложное, либо совсем не объясняла нам, куда она уходит. Услышав скрип калитки, я незаметно смотрел в окно: вот она убегает, вот возвращается, быстро перебирая ногами, стянутыми узкой юбкой, и в конечном счете больше всего я тревожился за нее.

X

Окруженная, словно поясом, пятью с половиной малышами, круглая как шар мадам Сотраль (младшая) величественно шествует, загромождая собой почти весь тротуар. Она вынуждает посторониться мадам Шоке — говорят, в постели мадам Шоке не хуже, чем за столом; сейчас она тащит то, что предпочла округлить, — сумку с провизией. Поскольку все на набережной знакомы, дамы здороваются, оглядывая друг друга на уровне пупа; потом расходятся, довольные собой, своими животиками: одна — тем, что из него выходит, другая — тем, что в него закладывает. А я, совершая ежедневную утреннюю прогулку по набережной, от моста до железного мостика (три раза туда и обратно, чтобы сохранить фигуру), — я не мог бы сегодня рассудить, чьи достоинства выше. Бывают дни, когда думаешь, почему мир устроен таким образом, почему мадам Шоке настолько глупа, что завидует добродетелям мадам Сотраль. Бывают дни, когда собственной семьи тебе хватает выше головы. Бывают дни, когда ты сознаешь, что привязанность подобна

наркотику: она держит тебя в плену, она тебе дорого обходится, она никогда не удовлетворяет тебя вполне, и все-таки, когда она исчезает, ты начинаешь мучиться.

Я только что, соблюдая этикет, спустился к завтраку. Обэна нет: прихрамывая, он уже поковылял в школу. Саломеи тоже нет: она вдруг решила записаться на курсы медицинских сестер (не для того ли, чтобы в будущем помогать Гонзаго?). Бертиль пылесосит спальни. Застаю одну Бландину с трубочками в носу, отчего она похожа на моржа и пищит, как утенок. И тут мне бросается в глаза эта вещица — она лежит на полу возле стула Саломеи. Это прозрачная целлофановая пластинка с наклеенной сверху фольгой. В пластинке двадцать одно углубление, в каждом лежит розовая пилюля, и на каждой пилюле указан один из дней недели. Неужели изменился их цвет? Насколько я помню, Бертиль употребляла голубые пилюли, и ни это, ни другое противозачаточное средство не валялись у нее где попало. Я протянул руку, пробормотав себе под нос:

— Смотри-ка! Она забыла.

— Вряд ли, — прогнусавила Бландина. — Я видела, как Саломея только что проглотила одну

такую пилюлю. Вероятно, они выпали у нее из сумочки.

— Ах, вот оно что!

Я не взглянул на Бландину и вышел, хлопнув дверью. Хорошо же вы выглядите, если неожиданно младшая дочь приводит вам доказательство того, что старшая завела любовника, да еще делает это покровительственным тоном просвещенной девственницы, считающей вполне нормальным, что сестра ее пользуется подобными средствами! Правда, я и сам подозревал это. Я же не слепой. И не пуританин. В самом деле, то, что в молодости было хорошо для меня с Мадлен, Эммой, Поль и другими женщинами, не потеряло своей прелести для тех, кто молод сегодня. Прямоходящее животное испокон веков только о том и мечтает, как бы прилечь. С течением времени количество опрокинутых на спину девиц, я полагаю, не меняется, однако я не слыхал, чтобы земля от этого вертелась медленнее или быстрее. И все-таки этот новый стиль меня коробит! Вот, кстати, подходящий сюжет, который даст мне возможность проверить, начисто ли отказываются от прошлого перебежчики вроде меня, сторонники обновления, последствия которого они переносят плохо, хотя и продолжают

экспериментировать, живьем сдирая с себя кожу. Оставим даже в стороне эти медикаменты, которые не следует продавать несовершеннолетним без согласия их родителей и которые, если их проглотить, спасают от пагубных последствий страсти, подобно тому как аспирин спасает от головной боли. Разве это естественно? Разве это не опошление того, что естественно? Люди нашего поколения считались с неудобствами и риском, сопряженными с любовью. Разумеется, и мы уже свели любовь с пьедестала святости, и для нас она уже перестала быть священной и осталась только чудесной. Но если все прочее и было лишь декорацией, мне все же трудно примириться с торжеством физиологии.

— Почта у тебя на письменном столе, — кричит в окно Бертиль.

Ноги сами привели меня к калитке. Скрип песка под каблуками вторит шуму у меня в голове. Отчего я испытываю чувство досады? Я недолюбливаю Гонзаго — это правда. Хотя у меня нет к тому оснований — и это тоже правда. Я вспоминаю слова Арно Макслона, которому не слишком повезло с дочерью и которому только и остается, что отшучиваться:

— Подумаешь! Теперь считается куда хуже,

если тебе проколют шину, чем если проколют твою собственную дочь. А выскажешь опасения, скажут, что опасаться надо тебя — мол, в каждом из нас сидит Эдип, — сам же еще и окажешься свиньей.

Я уже на крыльце, я уже в дверях. Была ли Саломея девственной, как Бертиль, какой ее знал Габриель, не я? Если все хорошенько взвесить, не так уж это и скандально. По крайней мере это доказывает, что беррийская прививка удалась и привитое растение преобразилось. Отцу, каков бы он ни был, его роль, его возраст запрещают быть мужчиной по отношению к дочери. Но ничего не поделаешь: вопреки языковым законам слово «дочь» для отца не всегда совпадает со словом «девушка».[15] Особенно в некоторых случаях… Как мутны источники нашего возмущения! Помилуй нас, святой Зигмунд![16]

— Ты почему смеешься? — спрашивает Бертиль, подходя ко мне на лестнице с письмом в руке.

Объяснить ей это кажется мне слишком сложным. Я подумал, что было бы, если бы Саломея в

---

[15] Примечания: 15
Fille — по-французски означает и «девушка» и «дочь».

[16] Примечания: 16
Имеется в виду Зигмунд Фрейд, создатель теории психоанализа.

нынешней ситуации была дочерью моего отца, в «Хвалебном». Ярость! Отчаяние! Пощечины, проклятья! Негодующий перст, указывающий на дверь: вон из дома — с позором, без денег, без узелка с пожитками! Ну и подвезло же нашему поколению, воспитанному во времена запретов! Мы были последышами общества, где еще царила строгость, и в то же время первыми, кто вынужден разрешать, — не в этом ли причина наших колебаний и недомолвок? Но, заменив девичью честь гигиеной, не поторопились ли мы и не зашли ли слишком далеко в нашей снисходительности?

— Есть открытка от Жаннэ! — сказала Бертиль. — Его освобождают двадцать первого. И письмо от твоей матери. Прочти: у нее неожиданное предложение.

Я беру письмо и читаю его тут же, сидя на ступеньках лестницы, ведущей на бывший чердак, разделенный на четыре спальни для детей. От нынешних событий перейдем к прошлому: оно тоже осаждает меня через Бертиль, которая — я это чувствую — к предложению матушки отнесется благосклонно.

«Как я и предвидела, дочка, Марсель

ищет покупателя на „Хвалебное“. Вы знаете, что еще при моем муже все имение было продано за пожизненную ренту Гийарам де Кервадек, которые дали его в приданое за Соланж. Я имею право пользоваться только замком и прилегающей к нему маленькой фермой. Значит, очень легко ликвидировать „Ивняки“ и „Бертоньер“, отличные фермы, срок аренды которых к тому же почти истек. Труднее избавиться, даже по дешевке, от „Хвалебного“: дом в плохом состоянии, в нем живу я, да еще родственники поднимут крик, если узнают, что я его продаю. Мне уже осторожно предлагали за умеренную цену откупить право на владение.

Но зачем это делать мне? Почему бы не вашему мужу? Подумайте. У меня есть кое-какие соображения, как легче осуществить эту сделку. Я буду в Париже 23 декабря из-за описи имущества».

Дешевый конверт из пачки в двадцать пять штук, купленной в магазине стандартных цен в Сегре. Бумага с грифом (зачеркнутым) моего отца: мадам Резо, видимо, пишет нечасто, раз она до сих пор еще не израсходовала запас. Бер-

тиль садится возле меня на ступеньку и вопреки своему обыкновению не противится тому, что я запускаю пальцы в ее волосы.

— Тебя шокировали пилюли Саломеи, — шепчет она. — Меня тоже. Она вольна распоряжаться собой. Но, по нашему уговору, она обязана была все нам сказать, однако главное сейчас — не восстановить ее против нас, и я не знаю, стоит ли из-за этого созывать семейный совет.

Ее голова в конце концов склонилась ко мне на плечо, из ее полуоткрытого влажного рта исходит свежий аромат зубной пасты, обволакивающий ее вопрос:

— А что мне ответить твоей матери?

Последние слова она проговорила прямо мне в губы. Под передником у нее только бюстгальтер. Она немного ворчит, пока длится поцелуй, косясь глазом в сторону, потому что Бландина где-то поблизости. Все, что когда-либо совершалось в «Хвалебном», совершалось по воле суверена, а те, кого это касалось, никогда не имели права голоса… Отличный случай! Я отпускаю Бертиль.

— Объясни ей, что такое наш совет, и попробуй созвать его… Скажи, что мы обсудим ее предложение. Заодно можно будет задать вполне «доброжелательный» вопрос Саломее.

XI

Одно из самых тяжелых воспоминаний моего детства — это тот день, когда мсье Резо, восседая в самом центре большого стола с гнутыми ножками, от имени мадам Резо предписал нам закон, закон непререкаемый, деспотичный, требовавший, чтобы мы в безмолвном страхе и даже с благочестивой признательностью целиком подчинялись родительской власти. С десяти до пятнадцати лет, вспоминая эту сцену, я в ярости мечтал о республике мальчишек, удалившихся на Авентинский холм, чтобы на равных правах договориться с Римом взрослых. Когда сам я оказался в этом стане (разумеется, не по своей воле: ведь только веление возраста остается неоспоримым), мне всегда претило распоряжаться юными существами. Даже если они еще не способны сознательно отличать плохое от хорошего, у них есть инстинкт, связанный с чувством физической самостоятельности: кто дышит воздухом, какой он сам для себя избрал, быстро задыхается в чужой атмосфере.

Вот почему в нашей семье учрежден совет.

Наивно? Не думаю. Того, что наша повседневная жизнь обсуждается всеми домашними, без учета разницы в возрасте, еще недостаточно (из уст взрослого слова падают в уши ребенка тяжелым грузом, и уже сама по себе эта сила тяжести губит их отношения). Надо еще время от времени в важных случаях, выбирая подходящий для этого день, создавать декорум, торжественную обстановку, когда каждому предоставляется возможность воспользоваться своим правом голоса, поупражняться в гражданственности, то есть в дебатах, за которыми следует голосование, а затем и подчинение воле большинства. У нас в доме не предпринимается ничего существенного, будь то, к примеру, покупка мебели или выбор места, где проводить каникулы, без того, чтобы не было выслушано мнение каждого. Финансовые вопросы тоже обсуждаются сообща: трудно себе представить, насколько менее требовательными становятся дети, если они вместе с вами утверждают бюджет. Что касается выбора наказания, то и это полезно обсуждать, и, если это возможно, хорошо, когда наказуемый соглашается с выбором. Жаннэ однажды сам голосовал за то, чтобы ему запретили в течение двух недель выходить из дому — у него в табеле были очень плохие

отметки, — в то время как я требовал всего лишь недели. Правда, тогда ему как раз минуло двенадцать: на протяжении пяти лет у него был совещательный голос, а тут впервые он получил решающий.

И вот Бертиль сидит в центре стола, между Обэном и Жаннэ; на мальчиках красные куртки с белой полоской. Я сижу напротив, между Бландиной и Саломеей — моей рыженькой и моей черненькой: одна — в светло-зеленом трикотажном платье, другая — в брючках и блузке из черного атласа; общее у них — только косметика. У бабушки Дару грипп, ее постоянное место на конце стола свободно. Но мадам Резо здесь… Она явилась! Прикатила производить опись имущества и позвонила от Мелани, чтобы я за ней заехал. Она, не улыбаясь, с любопытством наблюдает за нами, как исследовательница нравов незнакомого племени.

— И правда эта ваша система дает лучшие результаты, чем родительский приказ? — спросила она садясь. — Ну а если вы, родители, оказались в меньшинстве, решение остается в силе?

Но ее тут же передернуло, когда, раскрыв семейную книгу и отметив присутствующих, Бландина, «секретарь заседания», начала читать:

— Прежде всего вполне доброжелательный вопрос: признавая, что восемнадцатилетняя девушка сама вправе решать, как ей следует поступать, мать спрашивает Саломею, которая доверилась Гонзаго, почему она не поставила об этом в известность родителей.

Лицо у мадам Резо было напряженное и вместе с тем снисходительное, когда Саломея встала и, смущенная гораздо меньше бабушки, спокойно ответила:

— Я думала, что дала вам это понять в достаточной степени, а вдаваться в подробности я не хотела.

— Но молчание не самое… — слабым голосом проговорила мадам Резо.

Она не закончила: братья и сестры открыли настоящий заградительный огонь.

— Любовь, — заявила Бландина, — это не болезнь, объявлять о которой обязательно.

— Ничего не понимаю, — удивился Жаннэ (на этот раз он был в одном лагере с Саломеей). — Вы же не интересуетесь именами моих подружек. Вы даже предпочитаете не знать их. Почему к девушке одно отношение, а к парню другое?

— А подумали ли вы вот о чем: ведь то, что может привести к увеличению семьи, в какой-то

мере касается нас всех? — парировала Бертиль.

Наступила короткая пауза, и тут Жаннэ выпалил:

— В таком случае, если ты захочешь сделать нам еще одного братца, предупреди заказным письмом. А вдруг мы не согласимся!.. — Воспользовавшись произведенным эффектом, он тут же добавил: — Как видишь, это лишено смысла.

Матушка сидела неподвижно. Она была где-то далеко-далеко, унеслась бог весть в какую эпоху. Приложив руку к уху, она сделала вид, что не расслышала. Она знала, что у китайцев, например, тоже происходят невероятные вещи: «В этом году мандарины свергли с престола Чу за то, что он осудил двадцать их приверженцев, осудил справедливо, но осужденных посадили на кол из дерева, а не из слоновой кости». Случайно я встретился взглядом с Бертиль, движением век говорившей мне «да». Да, не будем настаивать. Мы принадлежим к переходному поколению, которое считает себя освободившимся от табу, и однако же мы не можем, подобно некоторым молодым людям, принять любовь, прежде именовавшуюся блудом, за естественное проявление простодушной непосредственности и свободы.

— А ты, папа, что об этом думаешь? — спросила

Бландина.

— Я думаю, что Саломея просто хотела пощадить нас, — мягко ответил я. — Но тех, кто вас любит, щадить нельзя: им сразу же начинает казаться, что их отстранили.

— Противный! — воскликнула Саломея со слезами на глазах.

— Ну ладно, — сказала Бертиль, — перейдем к предложению вашей бабушки. Следует ли нам откупать «Хвалебное»?

Вдруг матушка выпрямилась. «Она стала совсем другой!» — сказала мне по телефону Поль, и это подтверждалось все больше и больше. Несмотря на свои застарелые предрассудки, она наглядеться не могла на юную грешницу. Привыкшая говорить намеками, она шла на открытый разговор, в ходе которого мальчишка мог сказать ей в лицо все, что он о ней думает. Жаннэ уже повел прямую атаку.

— Прежде всего надо выяснить, что означает откуп, — заявил он. — Мы «разбуржуазившиеся» Резо, и мы вовсе не желаем возвращаться в эту касту. Согласны?

Возражений не последовало. Матушка теребила двойную нитку жемчуга у себя на шее с тем «двусмысленным» выражением лица, которое

было трудно разгадать.

— Не забывайте, — продолжал Жаннэ, — что «Хвалебное» остается символом того, от чего мы отрекаемся; к тому же эта груда камней чересчур велика. Вы знаете мои взгляды. Можно мириться с собственностью в пределах, необходимых любому живому существу, для нас они сводятся к дому и саду. Но если территория увеличивается, это уже противоречит природе, это становится…

— Стоп! — не вытерпел Обэн. — Мы это знаем наизусть.

— Какие благородные у тебя чувства, Жаннэ! — язвительно заметила мадам Резо. — Твой отец, разумеется, не богач, но ведь он и не нищий. Одно время ему приходилось туго, но если ты и ел сухие корки, то лишь от сдобных булок… Кстати, эта груда камней не стоит и половины того, что нужно уплатить за виллу на берегу моря.

— Простите нас, матушка, — сказала Бертиль. — Мы говорим здесь все начистоту. И я тоже прямо поставлю два вопроса: хотим ли мы откупить это имение? Есть ли у нас для этого средства?

— Имеем ли мы на это право? — добавил я.

— То есть как это, право? — удивилась матушка.

Пришлось напомнить ее же собственное трю-

качество:

— Прошу прощения, но нас было и остается трое братьев. Наследство получил один, который и продает имение. Это можно считать своего рода возмещением, и в таком случае Фреду тоже должно быть предоставлено слово.

— Понятно, в кого пошел Жаннэ, — заметила матушка, — но в известном смысле твоя позиция логична. Фред даст тебе благословение, вернее, он тебе его продаст.

— Мы еще не расплатились за дом в Гурнэ, — сказала Саломея. — Можем ли мы взваливать на себя еще один дом?

Толчками передвинув свой стул, бабушка оказалась рядом с внучкой.

— Ты носишь мой браслет, это мило с твоей стороны, — сказала она. — Я тебе скажу сейчас кое-что по секрету… Как заплатить? Очень просто. Я могу заранее выдать твоему отцу часть причитающегося ему наследства — ему придется платить мне только проценты, а основная сумма автоматически погасится после моей смерти. В конце концов, для меня это будет обыкновенное помещение капитала.

— Не стоит говорить о процентах и даже о содержании дома, — сказал Жаннэ. — Но там

ведь нет ни воды, ни канализации, ни отопления — мы сможем жить в этом доме только после перестройки, хотя бы частичной. А такой расход нам не по карману…

— Возражение серьезное, — сказала мадам Резо. — Я уже подумала. Эту сумму вы у меня тоже займете.

Щедрость в сочетании с коварством! Матушку всегда страшила перспектива сокращения ее доходов. Она не усовершенствовала, даже не ремонтировала «Хвалебное», лишь бы не тратить на это капитала. Ссудив мне некую сумму, она будет жить в перестроенном доме и не потеряет при этом ни единого су из своей ренты. Какая мешанина у нее в голове! Во что бы то ни стало ей нужно спасти главную резиденцию семьи Резо: Марсель-то ведь от нее отказывается, с Фредом считаться нечего, так что последняя возможность — это я. Надо любой ценой устранить постороннего покупателя, который, став хозяином, не потерпит ни порубки леса, ни сделок с антикварами. А быть может, ей нужно зачеркнуть прошлое, освободиться от тяготевшей над ней легенды? Наконец, нужно привлечь людей в «Хвалебное»: она больше не выносит одиночества, не в силах больше нести бремя своей кары. Напряженный

взгляд матушки говорил об этом достаточно красноречиво: если от ее предложения, за которым скрывалась просьба, и не страдали ее капиталы, то явно страдала гордость.

— А там в реке есть рыба? — пропищал вдруг голосок Обэна.

Славный малыш пробил брешь в наших молчаливых размышлениях.

— Ну, рыбы-то хватает, — ответила мадам Резо. — От нее попахивает тиной, но твой отец, бывало, приносил мне полные сети: щук, угрей, ельцов.

— Ельцов? — повторил Обэн, очень заинтересовавшись, но не понимая кранского наречия.

— Ну, язей, если тебе так больше нравится, — объяснил я. — Особенно хорошо они ловятся на кузнечиков, которых надо помещать перед самым их носом, на поверхности воды.

— В сочельник ты будешь у нас, бабушка? — спросила Саломея.

— Я собиралась прикинуться дамой легкого поведения и заказала себе столик в «Красном муле», — сказала мадам Резо. — Но если вы меня приглашаете…

— Разумеется, — ответила Бертиль. — Так что мы решаем?

Мадам Резо сделала вид, что встает, снова села, снова приподнялась, опираясь на плечо внучки, и в конце концов опять уселась, вздыхая, словно обезоруженная. А я лишний раз убедился в том, до какой степени трудно определить, искренна она или хитрит или и то и другое вместе.

— Я предпочла бы не знать, кто высказался «за», а кто «против», заявила она. — У вас открытое или тайное голосование?

— Мне очень жаль, — сказала Бертиль, — но у нас каждый подписывает свой бюллетень — так получается откровеннее. А что до открытого голосования поднятием руки, то мы заметили, что при этом старшие оказывают слишком большое влияние на нерешительных… Ты хочешь что-то добавить, милый?

— Да, я хотел сказать, что, в сущности, здесь два вопроса. Первый — мы, кажется, только его и поставили — сводится к тому, откупаем ли мы «Хвалебное», невзирая на расходы, которые с этим связаны, и на то, как это может быть воспринято. Второй вопрос вытекает из первого и формулируется в нескольких словах: можно ли считать, что вы зачеркиваете разрыв, продолжавшийся между нами двадцать четыре года? Отрицательный ответ на первый вопрос вовсе не

означает желания ответить отрицательно также и на второй. Сам я воздержусь.

— Признайся, папа, ты скорее «против»! — воскликнул Жаннэ.

— Он скорее «за», — возразила мадам Резо. — Это он только для очистки совести делает вид, будто подчиняется семейной демократии.

XII

Обошлось без неожиданностей — один голос «против» подал Жаннэ. Четверо голосовали «за»: Бертиль («У каждого человека две ноги, у каждой семьи две линии родства», — сказала она мне потом), Саломея, Бландина (по примеру решительной матери, а не колеблющегося отца) и Обэн (побуждаемый чувством симпатии к язям, плавающим в речке Омэ). Один незаполненный бюллетень мой. Мадам Резо отказалась участвовать в голосовании:

— Свои решения я принимаю самостоятельно.

Как только результат был занесен в семейную книгу, она исчезла вместе с Саломеей и, несмотря на сильный холод, увлекла эту мерзлячку прогуляться. Пока недовольный Жаннэ вертелся вокруг меня и ворчал: «Во всяком случае, ноги моей не будет в „Хвалебном“, я издали видел, как они расхаживают под руку по бульвару Баллю и беседуют. Не слыша их, я заранее мог сказать, о чем идет речь, и Саломея подтвердила мне это часом позже. Мамаша настаивала:

— Неужели, внученька, нельзя получить от них

хоть какое-нибудь официальное согласие?

Она была готова пожертвовать гораздо большим, чем я мог ожидать.

— А главное, скажи этому мальчику, что ты не без гроша. В случае надобности можешь на меня рассчитывать.

И, отступив перед спокойной откровенностью девушки, отвечавшей: «Послушай, бабушка, нельзя же быть такой старомодной; Гонзаго еще несколько лет не сможет жениться, у нас и в мыслях этого нет; мы любим друг друга, и достаточно…», — мадам Резо наконец сдалась:

— Ну что ж, ну что ж…

Под конец она совсем размякла и, вспомнив, быть может, какой-то грешок своей молодости, выказала перед девушкой почти полное безразличие к своему прошлому, к своим принципам:

— Ну что ж, я ведь хочу воспользоваться тем, что мне в жизни еще осталось. А ты пользуйся тем, что начинаешь жить. Все так быстротечно…

В самом деле, все так быстротечно — она знает это по опыту, я тоже, а Саломея скоро узнает. Но сейчас у нас праздник: всюду гирлянды и аромат индейки с каштанами. И я знаю одну особу, которую ждет неожиданный сюрприз: ровно в полночь Бертиль впустит нас в столовую и

снимет простыню, прикрывающую подарки, приготовленные для каждого из нас и разложенные кучками на сервировочном столике.

Все подарки мы готовим к 25 декабря. Но от Деда Мороза, приходящегося сродни Отцу Предвечному, который по праву старика приходит на смену младенцу Иисусу, — от него мы отказались, равно как и от елки, которая по две недели сохнет в каждой семье и, плача, роняет на паркет иголки от имени трех миллионов своих юных сестер, этих детей леса, безжалостно вырубаемых каждый год ради того, чтобы позабавились наши дети.

Все мы друг другу что-нибудь дарим и подарки временно передаем Бертиль. Если дети преподнесут взрослым хотя бы карандаш, то, получая свой подарок, они чувствуют себя независимыми и радуются вдвойне, потому что сами тоже что-то подарили.

Что до моей матушки, имевшей обыкновение дарить нам в сочельник по апельсину и явившейся в Гурнэ с пустыми руками, то и она получила подарки: пять пакетов в нарядной обертке, перевязанных ленточкой с пышным бантом. Ей никогда столько не дарили: ее родители, как и мой отец, были люди прижимистые. Несмотря

на морщины, она жеманится, как избалованный ребенок, кончиками ногтей терпеливо развязывает узлы, разворачивает бумагу, не разрывая ее, и издает мышиный писк, обнаружив коробочку мятных конфет (Обэн), ночную кофту (купленную вскладчину девочками), коробку с мылом (иронический подарок Жаннэ), электрокофемолку взамен ее допотопной мельницы (Бертиль) и, наконец — то ли знак вызова, то ли как символ, оливковое деревце из серебра с шестью ветками, украшенными шестью медальонами с нашими фотографиями, — все это мы наспех собрали сегодня днем, узнав, что она остается.

— Спасибо, детки, — повторяет она, — спасибо.

Она в восторге. Но в то же время и уязвлена. Она теряет престиж. Она ходит взад и вперед по столовой, украшенной Жаннэ: на этот раз была его очередь придумать праздничное убранство, и он, расположив стеклянные шарики разной величины вокруг люстры, изображавшей солнце, тонущее в розовом сиянии цветного пластика, смастерил модель солнечной системы. Мадам Резо останавливается под спутником, который по двойной проволочной нити совершает облет Юпитера… Вдруг мы погрузились в темноту. Жаннэ потушил свет, и спутник, мигая, понесся

к потолочному карнизу. Он возвращается, снова летит. Мы в восхищении. Потом нам это надоедает. Снова включаем свет. Мамаша сидит на прежнем месте, но осанка ее стала неузнаваема. Поистине с монаршим величием она подходит к невестке.

— Надеюсь, вы простите меня, Бертиль, но я ничего не припасла. Впрочем, мой сын создал мне в этом отношении вполне заслуженную репутацию: я очень скупа.

Она закинула руки себе за шею и что-то делает ими. Легкий щелчок — она отцепила двойную нитку жемчуга, смесь белого, серого, черного и розового, редкая драгоценность, единственная, оставшаяся от бабушки Резо.

— На старой коже восточное украшение не смотрится, — продолжает она. — Вам, дочь моя, оно будет больше к лицу.

И вот на шее у изумленной Бертиль двести настоящих жемчужин, выловленных из глубины южных морей, где акулы порой заглатывают отважных искателей жемчуга. У мадам Резо отлегло от сердца. Мадам Резо торжествует. О своем ожерелье она будет жалеть до самой смерти. Но зато она покрасовалась; теперь она может есть, пить, а потом в комнате для гостей храпеть, как

сапер, пока мы с Бертиль, лежа в постели, будем обсуждать события прошедшего дня, между тем как при свежем ветерке, приносящем издали шум кабачков, Жаннэ в пуловере под кожаной курткой и Саломея, запахнувшись в шубку из кошачьего меха, которая оказалась в числе полученных ею подарков, потихоньку, порознь, скользнут навстречу своей любви.

XIII

Около четырех часов утра послышались шаги по гравию, потом скрипнула калитка в глубине сада — там, где у нас стоит прицепной фургон для кемпинга. В полусне я даже наивно подумал: канистра с бензином для радиатора пуста — они там замерзнут. Во всяком случае, Саломея — ее-то шаги легко узнать по стуку каблучков-шпилек — вернулась около шести часов, а Жаннэ, под тяжестью восьмидесяти килограммов которого дрожат перила лестницы, — в семь. Когда в первом часу по вторичному зову колокольчика они спустились завтракать, оба не в силах были сдержать зевоту и, показывая белые зубы, с сонными глазами и помятыми физиономиями, лениво потягивались, как довольные коты.

— Ну и видик у вас, нечего сказать! — заметила Бландина.

— Тысячеметровку я сейчас, пожалуй, не пробежал бы, — признался Жаннэ, — но до Ланьи мы с Гонзаго доплывем.

— И я с вами! — восклицает Обэн.

— И я, — требует Бландина.

— Нет, — возражает Жаннэ. — Если в лодку сядут пятеро, при таком сильном течении нам не выгрести. Мы возьмем моторку.

У Гонзаго, которому отец ни в чем не отказывает, действительно есть двухместная моторка; уже несколько дней она даже стоит у плавучей пристани, рядом с нашей плоскодонкой, перекрашенной детьми в лягушачий цвет — от меня они унаследовали пристрастие к пресной воде. Саломея бросает на брата многозначительный взгляд, который означает: «Если я захочу, так Гонзаго оставит на берегу тебя». Но вместо этого она спрашивает:

— Бабушка Резо дома?

— Она уехала рано утром в Лонпон, к дяде Фреду, — отвечает Бертиль. — Кроме воскресений и праздничных дней, его трудно застать дома. Поскольку ваш отец этого требует, она хочет сейчас же получить согласие Фреда. Его она тоже не видела двадцать четыре года. Но это ее, по-видимому, не беспокоит: у нее есть его адрес, есть адрес его конторы; она знает о нем все, так же как и о нас.

— Хотя бы знать, раз уж бессильна что-либо сделать, — замечает Жаннэ. — Видно, она здорово пошпионила за нами!

— Ну ладно, садитесь за стол, — сказала Бертиль, которую явно раздражает эта упорная неприязнь.

Только мы расселись, зазвонил телефон. Обычно я прошу Бертиль или кого-нибудь из детей выяснить, кто звонит. Но на этот раз меня словно осенило, я сам прошел в кабинет и снял трубку.

— Алло! Мсье Резо? Нет, мне не сына… Это отец? — раздается в трубке.

Я подтверждаю, насторожившись: голос незнакомый, вступление странное.

— Я не могу сообщить вам ни своего имени, ни адреса. Могу сказать только одно: у Гонзаго неприятности. К счастью, у меня оказался номер вашего телефона… — Дальше голос скандирует: — Не дер-жи-те у се-бя ни-че-го из его ве-щей.

И незнакомец вешает трубку. Слышатся частые гудки. Стоит ли волноваться? Может, это какой-то розыгрыш. Я раздумываю, глядя в окно. Под синим куполом неба очень холодно. Трава покрылась инеем. Бассейн опять замерзнет, хотя Жаннэ, вслед за Обэном, снова пробил ледяной панцирь, чтобы дать воздуха золотым рыбкам. Под лучами низкого солнца пылает и искрится колотый лед — белый уголь, припасенный морозом. Какие неприятности могут быть у студента-медика?

Сразу же приходит в голову мысль: он мог оказывать услуги знакомым девушкам, попавшим в трудное положение. Но он только на третьем курсе, у него наверняка нет никакого опыта, и, если бы дело шло об этом, меня бы так настойчиво не предостерегали относительно хранения его вещей. Даже при том, что он единственный сын врача с хорошей практикой, Гонзаго живет слишком широко. Уже не раз мои дети, которым я ограничиваю деньги на карманные расходы, признавались мне, что им неловко, когда он платит за всех. Как он может позволять себе такие траты? При этом костюмы, автомобиль, лодка? «…Ничего из его вещей». Может быть, как раз лодка?..

Я быстро перелистываю телефонную книгу, нахожу номер, звоню в Ланьи. Но, как я и ожидал, мне отвечает автомат: «Доктор Флормонтэн будет отсутствовать до двадцать шестого декабря. В неотложных случаях обращайтесь к дежурному врачу, доктору Алакокэ в Нуази. Если желаете что-либо передать, в вашем распоряжении тридцать секунд. Говорите…» Пожалуй, лучше промолчать: ни к чему фигурировать на магнитофонной ленте, прослушивать которую, возможно, будет не один только доктор Флормонтэн.

— Где же ты? Мы тебя ждем. Что там стряслось? — недоумевает Бертиль, появившись у приоткрытой двери.

— Начинайте без меня. Я сейчас вернусь. Выйду минут на пять.

— Ведь Рождество… — протестует Бертиль.

За ее спиной появляется Обэн. Указательным пальцем я касаюсь кончика своего носа, как будто хочу почесать его. Это давнишний сигнал. Мы, братья, пользовались им еще в детстве, в «Хвалебном». Он означал у нас: «Берегись, не оплошай!» Только смысл его теперь изменился. Для нас, родителей, он означает: «Ни слова детям».

Я взял с собой бинокль, у меня уже созрел план: я перейду мост и с противоположного берега буду наблюдать за нашим причалом. В чем состоит опасность, которая нам угрожает? И не опаснее ли — для нас — стать сообщниками неведомого преступления, пытаясь — ради других — избежать этой опасности? И снова меня охватывает глухое бешенство, знакомое всем отцам семейств: в девяти случаях из десяти виновниками наших неприятностей бывают люди посторонние, которые впутывают нас в свои авантюры, причем неосторожность наших детей, легкомысленных как в своих поступках, так и в выборе знакомых,

еще осложняет дело.

Почти не поворачивая головы, я прошел вдоль причала. По обе стороны от него сидят два рыболова; в такую погоду для этого действительно надо обладать изрядной выдержкой. Но может быть, это совсем и не рыболовы. Они могут даже принадлежать к противоположным лагерям. Я прихожу в возбуждение, и моя злоба утихает. Мне начинает казаться, что один из рыболовов наблюдает за моторкой, покачивающейся на воде рядом с моей плоскодонкой. Мне кажется, что второй рыболов следит за первым, готовый броситься на него, если он проявит интерес к лодке. А я веду наблюдение за тем и другим.

В действительности все оказалось проще, и я убедился в этом, как только перешел мост и очутился напротив. Здесь берег, поросший деревьями и кустарником, на один метр выше; здесь тоже много частных пристаней, из которых каждая может служить хорошо замаскированным наблюдательным пунктом. Пускаю в ход бинокль. Странное удовольствие видеть тех, кто тебя не видит, оказаться нос к носу с людьми, будучи от них далеко. Это сотни раз случалось со мною во время каникул, когда я подглядывал в бинокль за персонажами, обычно изображаемыми

на открытках: купальщицами, выходящими из воды, парочками, лежащими в траве, — словом, за анонимными существами, которых безмятежная нега отдыха заставляет забыть, что человек по природе — охотник. Сомнения нет: оба парня тут неспроста и рыбу удят только для вида. Лет им по двадцать — двадцать пять; это, должно быть, студенты, и, судя по их трусливым повадкам, не слишком искушенные в подобных делах. Они боятся подойти друг к другу, сходятся осторожно, как бы ненароком... Я дрожу от холода, но ждать мне придется недолго. Им тоже холодно: они то и дело притопывают ногами или дуют себе на пальцы.

Наконец решились! Пока тот, что слева, оборачивается, делая вид, будто меняет наживку, тот, что справа, кладет удочку наискосок на маленькую деревянную рогатину и проскальзывает на мостки. Вытащив из-под своей овечьей шкуры кусачки, он перерезает цепь у самого причального кольца, прыгает в лодку и плывет в ней вдоль берега вниз по реке. У него, очевидно, нет ключа, чтобы завести мотор, и потому он вынужден плыть по течению, стоя на носу и маневрируя для равновесия аварийным веслом. Сообщник его в это время улепетывает, позабыв про свои

удочки. Когда лодка, увлеченная под арку моста, скрывается из виду, он вскакивает на мотороллер — и был таков. То, что «неприятности» у Гонзаго вполне реальные — это несомненно, и характер их начинает выясняться. Во всяком случае, парень он скверный: он бессовестно поставил у нас свою лодку, и не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться — либо в ней есть тайник, либо она тащит за собой водонепроницаемый контейнер, приклеенный к килю, как рыба-прилипала. Принято думать, что подобные истории могут случиться с кем угодно, только не с почтенным отцом семейства, который, правда, не стеснял свободы своих детей, но достаточно следил за ними и окружал их душевным теплом. По дороге домой меня охватывает бешенство. Оно внушает мне весьма достойные мысли: «Подлец! Да к тому же еще спит с моей дочерью! Ни за что ни про что…» Я тороплюсь. Я начинаю неестественно смеяться, как человек, уже теряющий над собой контроль и вдруг замечающий, что надо срочно перестать думать о себе самом. «Это просто благородный рефлекс папаши, перенесенный на бумагу! Если бы этот парень окрутился с девчонкой, дело было бы серьезнее».

Снова переходя мост, я вижу лодку, которая

продолжает спускаться к Нейи-сюр-Марн. Попутного ветра! Испугал ли я их, или эти типы действуют согласно полученным указаниям, но только они избавили меня от решения одной из проблем. Остается другая, причем достаточно сложная: проблема Саломеи.

— Стой! — кричит кто-то сзади. — Стой! Подожди меня!

Мадам Резо только что сошла на Церковной площади с автобуса № 113-С и, махая рукой, семенит ко мне. Вот некстати! Я-то надеялся, что до ее возвращения успею рассказать обо всем Бертиль, поговорю с Саломеей, изучу ситуацию. А теперь почти невозможно не ввести ее в курс дела. Хорошее же мнение составит она о нас, когда вдобавок ко вчерашнему услышит еще и эту историю. Но главное, при ее болтливости она может пуститься в откровенности со своей фермершей, которая рада будет разнести о случившемся по всей округе.

— Так вот, я поглядела на наших цветных, — сказала мамаша, догнав меня около кафе-мороженого на углу бульвара Баллю. — Живут они у черта на рогах! Автобус, метро, опять автобус — думала, никогда не доберусь.

Она остановилась, чтобы отдышаться.

— Надо было взять такси, — сказал я.

— Такси… Ишь ты какой! — осуждающе возразила мамаша. — Словом, главное, что Фред согласен. Разумеется, если вдобавок к основному капиталу дать ему небольшое вознаграждение. — И без передышки продолжает: — Не очень он и удивился моему приезду но, признаюсь тебе, я бы охотно обошлась без этого визита. Фред был с похмелья. Ему ведь нет и пятидесяти, а выглядит он на все шестьдесят: толстый, лысый, совсем опустился. Мулатка его мне понравилась. Она мило шепелявит, видно, энергичная, даже довольно хорошенькая… Уж и не знаю, как это у нее получилось: мальчишка весь в кудряшках, губастый, гораздо чернее ее. Об их лачуге говорить не буду… Я видела такие, когда отец был судьей в Гваделупе. Барак в колониях, только без африканских солдат.

Уже не впервые я замечаю у матушки эти сладострастные интонации, когда она говорит о невзгодах своих близких. Можно подумать, что она находит в этом подтверждение своей правоты и смакует этот частный случай наказания, это непременное следствие ее осуждения, относящегося ко всем. Если теперь все идет плохо, разве это не доказывает, что когда-то все было лучше?

— Но почему ты не дома? Разве вы еще не са-

дились за стол? Впрочем, меня это устраивает, мне неловко заставлять твою жену кормить меня отдельно.

— Она покормит нас обоих. Я тоже еще не успел позавтракать. — Раз ей по вкусу наши горести, подадим их горяченькими. Будем продолжать: — Дома никто еще ничего не знает. С Саломеей случилась прескверная история.

— С Саломеей? Каким образом? — восклицает она, схватив мою руку.

— Зайдемте в кафе. На улице не поговоришь, очень холодно, а прежде, чем вернуться домой, я хотел бы знать ваше мнение.

Я открываю перед ней дверь, усаживаю ее на застекленной террасе, лицом к Марне; ей приносят джин с тоником, но она к нему не притронется. Я рассказываю ей все.

И то, что она узнает от меня, становится сущей ерундой по сравнению с тем, что она невольно открывает мне.

Я думал: у нее слабость к Саломее, такая же, какую она питала к Марселю. Но так же, как и в случае с Марселем, чувство это поверхностное, неглубокое; оно связано с желанием обеспечить себе если не сообщника, то по крайней мере сочувствующего.

Я думал: в Саломее ее привлекает еще и то, в чем она в конце концов заставила меня признаться; то, что случилось, тешит ее тайную неприязнь, ее презрение к нашей семье, которую она же и расшатала своим властолюбием. Но я заблуждался. Я жестоко ошибся. Мадам Резо зашипела было:

— Так-так, теперь и ты узнаешь, что такое неприятности с детьми! — И тут же вся посерела и, задыхаясь, забормотала: — Бедняжка! Теперь… она… пропала. — Но она довольно быстро взяла себя в руки и напустилась на меня: — А ты что, не мог углядеть, с кем она водится?

Однако, когда я заговариваю о том, что надо бы расспросить Саломею, она тут же принимается возражать, противореча самой себе:

— Саломея наверняка ничего не знает. Не надо ее травмировать. В конце концов, ты только предполагаешь, но у тебя нет доказательства, что Гонзаго посадили или хотя бы даже что он в чем-то провинился. Чего ты добьешься, если будешь торопить события? Предупреди Бертиль, этого достаточно. А в остальном будем настороже, подождем.

Молчать, таиться — нет ничего более противного ее натуре. Она выпрямилась, но, как бы она ни старалась сдержаться, на глазах у нее выступили

слезы, подбородок слегка вздрагивает, и сейчас, глядя на нее, я куда больше взволнован этим открытием, чем историей с Гонзаго. Приходится признать очевидное: мамаша самозабвенно полюбила Саломею. Вдруг, сразу. Подобно тому, как заболевают малярией. Значит, у холодного чудовища моего детства по жилам течет все-таки горячая кровь, которая питает это пылкое чувство! Но почему только теперь, так поздно, почему не в те далекие годы и не к нам, ее собственным детям?

XIV

В нашем доме, выстроенном по моему желанию в основном из стекла, не так-то легко сохранить тайну хотя бы даже на один день. То обстоятельство, что я вернулся вместе с моей матушкой, в первый момент послужило мне алиби: я ничего не сказал, так что все подумали, что я ходил ее встречать. Пока мы ковырялись в своих тарелках, дети торчали в столовой, ожидая Гонзаго, и я, к сожалению, не мог поговорить с Бертиль, которая то и дело бросала на меня встревоженный взгляд. Если домашние что-то и подозревали, они могли думать только, что дело идет о неприятностях, не касающихся нашей семьи, и мысль, что у меня может быть от них общая тайна с бабушкой, даже не приходила им в голову. Но в три часа Жаннэ, удивленный тем, что Гонзаго так и не появился, сел в наш «ситроен» и поехал посмотреть, не застрял ли тот где-нибудь со своей машиной, но почти тотчас вернулся.

— Вот это здорово! — сказал он. — Моторки на месте нет. Значит, Гонзаго приезжал за ней.

— И сюда не зашел! — воскликнула Саломея.

— Возможно, родители попросили его покатать каких-нибудь неожиданных гостей, — сказала Бертиль, не сводя с меня глаз.

— Он зашел бы извиниться, — сказала Саломея.

Как мы с матушкой ни старались продемонстрировать обезоруживающее спокойствие, как ни пытались переменить тему разговора, я чувствовал себя словно в осаде. Саломея позвонила в Ланьи, но ей, так же как и мне, ответил автомат. Дети столпились вокруг нее. Я не мог помешать Жаннэ взять телефонную трубку и решительно заявить магнитофонной ленте:

— Послушай, Гонзаго, куда же ты запропастился? Надоело тебя ждать!

— Обманщик! — крикнула в трубку Бландина.

— Позвони мне, милый, как только вернешься, — сказала наконец Саломея.

Я облегченно вздохнул: никто из них не назвал своего имени. Впрочем, это наивное утешение, в случае необходимости хороший следователь без труда доберется до моей дочери.

— Что случилось? — шепнула мне Бертиль, воспользовавшись этой интермедией.

Перед нашим домом круто затормозил чей-то «фиат», избавив меня от необходимости отвечать.

Выскочив из машины своей матери, Мари Биони, подружка Жаннэ, бегом пронеслась через сад, в два прыжка взбежала на крыльцо, распахнула дверь.

— Ну и скандал! — воскликнула она, в то время как Жаннэ, приподняв ее за локти, оторвал от пола и поцеловал.

Маленькая — всего полтора метра роста, — с личиком, утонувшим в море волос, Мари очень привлекательна. Верзила Жаннэ вообще питает слабость к миниатюрным девицам, но, сменив десяток других, с этой не расстается уже больше двух лет. Ее грозный отец, налоговый инспектор в Ланьи, известный в округе своей строгостью, оправдываемой всегда одним и тем же доводом: «Не моя вина, если государство — великий вымогатель», так робеет перед дочерью, что, несмотря на свои корсиканские принципы, мирится с тем, что он называет «предварительной связью». Однако Мари никогда не скрывала того, что связь эта у нее не первая. Более того, она признается в своих прежних романах с типичной для ее поколения легкостью. (Впрочем, «признается» — не то слово, потому что она вовсе не считает это провинностью… Вернее, она говорит о них откровенно.) Хотя я уже и привык к подобным вещам,

временами у меня просто дух перехватывает, особенно когда я вижу, как улыбается при этом Жаннэ: он не ревнует, а скорее даже польщен тем, что его девушка так свободно мыслит, что она не глупа и обходится ему не слишком дорого (то есть умеет наравне с молодым человеком тратить деньги своего папаши), начисто лишена врожденного женского искусства произносить высокопарные фразы и создавать сложности.

В настоящую минуту это юное существо, вновь поставленное на собственные ножки, с тревогой взирает на Саломею:

— Ты правда ничего не знаешь? Гонзаго…

— Что Гонзаго? — спросила Саломея мгновенно изменившимся голосом.

А ведь все осталось по-прежнему, хотя наши дочери и начинают теперь с того, чем кончали их бабушки. Чувственность ли будит в них чувства или наоборот, но результат один и тот же: они одинаково быстро начинают страдать.

— Кто бы мог подумать? — продолжала Мари, уцепившись за пиджак Жаннэ. — Гонзаго взяли сегодня в одиннадцать часов у него дома. Служанка была отпущена, а родители уехали на уик-энд на свою ферму на Луаре. Я сама видела, как полицейские прыгали через ограду.

Нужно сказать, что Мари живет на одной улице с Гонзаго и именно у нее мои дети с ним и познакомились.

Саломея словно оцепенела.

— Ну, давай выкладывай все! — сказала она.

— Они обшарили дом сверху донизу, — продолжала Мари. — Говорят, больше всего им хотелось поймать одного типа, но тот оказался проворнее их: соседи видели, как он улизнул через заднюю калитку. А Гонзаго спал. Полицейские надели на него наручники и увели.

— Но почему? В чем дело? — простонала Саломея.

Ее тон успокоил меня: значит, она ничего не знает. Все слушали остолбенев, кроме моей матушки и Бертиль, которые незаметно подошли к Саломее, проскользнув у нее за спиной.

— А дело все в «травке», — сказала Мари. — У папы в полиции есть знакомые, от них он и узнал. Главный — тот, что удрал, а Гонзаго — его сообщник. Полиция уже три месяца выслеживала группу студентов, которые снабжали «травкой» хиппи и университеты. В общем-то полиция прохлопала: конфисковали пять пачек псевдосигарет, которые обнаружили в комоде, — и все. А думали найти что-то поинтереснее.

Черт подери! Склад-то был в моторной лодке! Сейчас, наверняка уже разгруженная, она, должно быть, стоит себе где-нибудь в лодочном сарае. Но — молчок! Распространяться об этом не следует, а то еще разболтают, и тогда к нам могут явиться с обыском. Если будут считать, что мы ничего не знаем (а то, что мы знаем, уже не имеет никакого значения), то в полном молчании нет ничего плохого. Кто посмеет упрекнуть нас за это? Я вовсе не собираюсь признавать, что гражданский долг выше отцовского. И я не желаю, чтобы полицейский копался в белье Саломеи.

— Он ничего мне не говорил… ничего! — твердила она сквозь зубы.

— Еще счастье, что он тебя-то не впутал! — сказала Бландина.

— Лучше бы впутал!

— Так вот откуда у него деньги! — осуждающе изрек Жаннэ. — Мне очень жаль. Мы все ими пользовались.

— Не хочу о нем больше слышать, — сказала Бертиль.

— Все потешаются над этой историей, — продолжала Мари. — Теперь, видно, о медицине Гонзаго придется забыть. Даже у доктора Флормонтэна могут быть неприятности. Представляю

себе его вид, когда он вернется!

— А какой вид у Саломеи, вы разве не замечаете? — злобно выкрикнула мадам Резо. — Дайте вы ей хотя бы опомниться!

По правде сказать, Саломея держалась хорошо. Даже слишком хорошо. Как статуя. Точно вся она превратилась в мрамор. Один лишь лоб еще жил на ее лице и весь сморщился, поднялся над черной полоской бровей. Никто не смел шевельнуться. Саломея решилась первая. Бросив беглый взгляд на бабушку, она улыбнулась ей, потом, слегка покачиваясь на высоких каблуках, направилась к двери.

— Извините меня, — сказала она. — Мне надо побыть одной.

Мы слышали, как она сперва настраивала свою скрипку, потом перестала и захлопнула футляр. Целых два часа просидела она в своей комнате, и никто не мог заставить ее выйти оттуда; наконец матушке пришла в голову мысль сунуть ей под дверь записку. Саломея почти сразу открыла дверь, и они о чем-то два часа беседовали наедине. О чем — ни та ни другая никому ни слова потом не проронили. Молодежь, почувствовав себя лишней, отправилась к Макслонам, а Бертиль, оставшись вдвоем со мной, начиняла тишину

обрывками фраз:

— Гонзаго я это припомню! Но я вовсе не уверена, что Саломея…

Или:

— И надо же было, чтобы это случилось именно с ней…

Или еще:

— С твоей матерью мы даже не были знакомы, а теперь она…

В половине восьмого Бертиль пошла на кухню, а я позвонил Поль, но не застал ее, потом Батисту, которого тоже не оказалось дома. Только я уселся перед телевизором, как мадам Резо и Саломея Форю спустились вниз, первая опираясь на вторую. Они сели возле меня и просидели, не говоря ни слова, пока не кончили передавать «последние известия». Потом Саломея, по-прежнему далекая, отсутствующая, машинально поднялась, чтобы помочь матери накрыть на стол.

— Мы долго беседовали, — сказала мадам Резо. — Девочке нужно переменить обстановку. Мне уже давно хотелось побывать на Канарских островах. Если вы не возражаете, я возьму ее с собой и мы уедем.

Уехать в тот самый момент, когда решается вопрос о наследстве, пойти на такие расходы!

Видимо, мамаше страшно хотелось воспользоваться случаем! Я взглянул на жену, и мне показалось, что она насторожилась. Но первым пробормотал я:

— Ее же могут вызвать как свидетельницу.

— Тем более, — сказала мадам Резо.

Вдруг Саломея прижалась ко мне. От счастливой девочки, какой она была еще накануне, остались одни лишь черные локоны да эта юная линия щеки, а все лицо сделалось как-то жестче.

— Позволь мне ненадолго уехать, — прошептала она. — Мне невыносимо сейчас оставаться здесь.

В ту минуту, когда она прильнула губами к моему виску, я перехватил свирепый взгляд, сверкнувший сквозь приспущенные ресницы мадам Резо. Потом Саломея встала, пересела поближе к бабушке, и я увидел уже только веко хищной птицы, нежно стерегущей свое гнездо.

XV

Эта способность навязывать другим свои решения, умение быстро их осуществлять вернулись к матушке, как будто и не было двадцатипятилетнего перерыва, — вернулись, правда, ради прямо противоположных целей. На другой же день, в девять утра, после внимательного изучения моих географических карт, на которых она отметила, что нужно посмотреть, мадам Резо уже звонила в бюро путешествий, специально занимавшееся «несезонными» поездками по сниженным ценам. Не теряя зря времени, она тут же вновь сняла трубку и заказала два места — к счастью, еще нашлось два свободных места на самолет, вылетавший в тот же день. Затем она позвонила мэтру Дибону и предупредила, что уезжает по крайней мере на месяц.

— Я бы хотела, — добавила она, — чтобы вы, не дожидаясь моего возвращения, подготовили пусть не купчую, но хотя бы соглашение о продаже «Хвалебного». Не тяните с этим делом, получите подписи моих сыновей. Я составила проект соглашения и посылаю его вам.

Потом она дала телеграмму Марте Жобо, мгновенно съездила со мной в банк, заставив меня снять определенную сумму, которую тут же мне возместила, нацарапав чек на свой банк; при этом она не преминула подчеркнуть, как дорого стоит путешествие, выражением лица побуждая меня предложить ей помощь… от которой она тут же отказалась, быть может в надежде на то, что я буду настаивать. Рысью вернувшись домой, она воспользовалась тем, что младшие были в лицее, а Жаннэ снова занял на днях свое место у электронно-вычислительной машины в страховом обществе, где он работал до военной службы, и насела на Бертиль, все еще не решившую, отпускать ей Саломею или нет. Она наседала и на меня: я не более, чем моя жена, горел желанием отпустить с ней Саломею, но мне не хотелось огорчать дочь, кроме того, я был зачарован зрелищем такого пылкого покровительства, и мне любопытно было посмотреть, до чего оно может дойти. Она наседала и на девочку, которая, конечно, посчиталась бы с нашей просьбой повременить с поездкой; она набивала ее чемодан, затягивала ремнем и шептала:

— Не бери пример с меня. Не плесневей в своей комнате и в своем разочаровании.

Короче говоря, в шестнадцать часов, пропустив впереди себя Саломею, мадам Резо с широкой улыбкой уже предъявляла контролеру два билета на самолет.

— В сущности, это мое воздушное крещение, — весело сказала она, победоносно махнув нам рукой через барьер.

Мы проводили ее без радости. Десять минут спустя, поднявшись на террасу и вдыхая резкий запах керосина, который становится теперь ароматом дальних странствий, мы увидели, как «Каравелла», выплевывая две серые струи, встала на дыбы над взлетной дорожкой и быстро поднялась в ветчинно-розовое небо, окаймленное на горизонте плотной грядой облаков.

XVI

Четыре дня — никаких вестей. Может быть, это следовало приписать нерадивости испанской почты? Когда мы посылали Саломею в Шотландию, а на следующий год в Ирландию совершенствоваться в английском языке, я заметил, что без нее в доме становится более пусто, чем без Бландины или Жаннэ; когда ее или Обэна нет, у нас воцаряется особенная тишина, стены словно раздвигаются, паркетины становятся длиннее — Саломея словно укорачивает их своими быстрыми шагами. Я не люблю думать об этом, но все же нельзя не признать, что привязанности, как китайские астры, поддаются пересадке. Есть существа, которые в силу обстоятельств, казалось бы, должны значить для тебя меньше, чем они значат; какое-то время ты стараешься проявлять к ним внимание из чувства долга, а потом их жизнь понемногу заполняет твою. Я это знаю лучше других, но не я один это испытал. Я не вставал из-за письменного стола, а Бландина не отрывалась от своих тетрадей. Бертиль, нервничая, хлопотала по хозяйству. Обэн, вернувшись из

школы, одиноко бродил по саду или заглядывал в мой кабинет.

— Ничего нет от Смэ?

На пятый день — в четверг — он с шумом взбежал по лестнице, размахивая двумя совершенно одинаковыми почтовыми открытками, на которых высился вулкан Тейде, тенерифская достопримечательность номер один, в белой шапке на фоне столь же безоблачного, сколь и преувеличенно синего неба. «Отлично, — подумал я, — каждая пишет отдельно». Но у мадам Резо на уме была одна только Саломея: «*Чем больше видишь, тем меньше у тебя времени копаться в себе. Я стараюсь показать ей возможно больше. Стараюсь, чтобы под прикрытием защитных очков она не уходила в свои мысли*». А Саломея в не меньшей степени была занята мадам Резо: «*Десять часов в день она проводит в экскурсиях. Бабушка буквально заполонила Канарские острова — она хочет всюду поспеть и всем насладиться: напиток сангрия, достопримечательности, устрицы, морские купания. Завтра она решила непременно слетать на „кукурузнике“ до Тен-Бела…*» Саломея, правда, добавляла: «*Надеюсь, вы скучаете по мне так же, как я скучаю по всем Эрдэ*». И это все. Письма рас-

полагают к признаниям. Открытки же, которые может прочесть почтальон, выручают тех, кто к признаниям не склонен.

Но все же, чтобы нас не расстраивать, они стали присылать по открытке ежедневно. На всех были аккуратно наклеены разноцветные марки для Обэна, который отклеивал их, держа над паром у носика чайника: все они отличались яркостью красок, и на большинстве были изображены высокие бетонные здания, вознесшиеся среди цветов, чудесных пляжей, алоэ и банановых деревьев с огромными листьями, неизменно обтрепанными по краям. Наши путешественницы рикошетом летали от одного острова к другому: от Тенерифе к острову Гомера, от Иерро к Гран-Канария… А в это время мы, не двигаясь с места, рикошетом летали от белого к черному, от тревог к успокоению.

Прежде всего появился полицейский в штатском — толстенький, вежливый, он беспрестанно кивал головой и ласково задавал вопросы. Он собирал сведения — «ничего серьезного, мсье и мадам» — в связи с одним небольшим дельцем о торговле марихуаной. Некий Гонзаго Флормонтэн, «приятель ваших детей — не так ли? — и в первую очередь мадемуазель Саломеи, по обще-

му мнению прелестной девушки»… не приносил ли им когда-нибудь этот Гонзаго сигареты? Не приходилось ли нам обращать внимание на специфический запах? Не замечали ли мы, что идет какая-то торговля? Слава богу, Бертиль расхохоталась, и инспектор удовольствовался, вместе с чашкой кофе, моим безграничным удивлением.

Спустя неделю, в сумерки, у наших дверей позвонил доктор Флормонтэн. Поглаживая рукой розовую лысину, он начал с того, что попросил нас извинить его сына, которому «не удалось» в течение десяти дней дать нам о себе знать. Я ответил, что, как и все, имею о нем сведения, ибо слухами земля полнится. Доктор сразу же начал изливаться в жалобах: бедный мальчик! Его ужасно подвели дурные приятели. Мы, которые его хорошо знаем, разумеется, не можем в этом сомневаться. Но отклика с нашей стороны не последовало; тогда вдруг этот доктор, столь холодно ставивший диагнозы, гнусавя и заикаясь, принялся защищать сына — речь его могла скорее разжалобить, нежели убедить. У единственного сына единственный отец — отец никогда не признает, что сын у него негодяй. Но, уходя, доктор имел неосторожность небрежно спросить меня, не знаю ли я, что сталось с лодкой.

— Я знаю только, в каких целях ее использовали, и знаю, что приятели Гонзаго вовремя ее угнали, — ответил я.

Папаша оторопел.

— Но тогда дело куда серьезнее, чем я думал, — испуганно сказал он. — Во всяком случае, никому об этом не говорите.

Он дернул плечом, выпрямился, на прощание кивнул головой и влез в свою машину, ни слова не проронив о Саломее. Моя холодность, естественно, не позволила ему обнаружить подлинную цель своего визита.

Но я догадывался о ней, и вскоре, когда пришло первое письмо из XIV округа, догадки мои подтвердились. Одно из двух: либо узник возвращал свободу моей дочери, либо пытался уцепиться за нее. О том, чтобы это проверить, не могло быть и речи: подобно тому как желтая черта на дороге считается стеной, так и запечатанный конверт должен считаться неприкосновенным; и это относится не только к моей обидчивой молодежи, но и к Обэну — личные письма дают ему веское основание смотреть на себя как на личность: раз письмо адресовано ему, значит, какое-то третье лицо оказало ему внимание, для него трудился почтальон, родные уважают тайну его перепис-

ки. Когда-то я ненавидел власть тираническую и потому теперь не переношу никакой власти, в том числе и своей собственной, и предпочитаю заменять ее решениями, принятыми сообща, позволяя себе разве что «направлять» их. Моя деликатность того же происхождения: я слишком негодовал в те времена, когда мсье Резо фильтровал наши письма, когда он, по дальнозоркости сдвинув очки на кончик своего большого носа, подвергал тщательной проверке и то, что мы отправляли, и то, что получали, да еще передавал своей супруге для дополнительного просмотра.

Ни Бертиль, ни дети, с которыми я посоветовался, не сочли возможным делать исключение из правила. Впрочем, второе письмо кое-что прояснило: раз Гонзаго проявляет упорство, значит, хочет уцепиться. Второе любовное послание вместе с первым было положено на видном месте на бюваре маленького секретера Саломеи в ее комнате, так называемой «комнате с коровами» (обои ее бесконечное число раз воспроизводят наскальную живопись в гроте Ласко). В отсутствие дочери мы там ничего не трогаем, зато и она, как и ее братья и сестра, никогда не позволит себе оскорбить нас, заперев что-нибудь на ключ.

Впрочем, нам очень скоро пришлось забыть о

нашем гипотетическом зяте и подумать о вполне вероятной невестке. Как выразилась мадам Дару, которая не боится крепких словечек, «пока дети совсем маленькие, мы занимаемся главным образом их нижним этажом. Потом мы долго трудимся над их головой; когда же они совсем вырастают, мы вновь как дураки оказываемся перед старой проблемой». Однажды в субботу к нам явился другой отец, на сей раз отец Мари, и, сдерживая гнев, вежливо сообщил нам, что вот уже две недели, как его дочь обнаружила прискорбную склонность во время завтрака выбрасывать изо рта столько же пищи, сколько она в него закладывает.

— Я пришел узнать, какие у вас намерения, — сказал он, устремив на меня взгляд человека, привыкшего по лицу угадывать обманщиков.

— Вы хотите сказать, намерения Жаннэ, — уточнила Бертиль, напоминая ему, что мода на браки, устраиваемые родителями, прошла и даже такой случай — не повод для исключения.

— Мне очень симпатична Мари, — тут же добавил я. — Но ей-богу же, надо предоставить молодым людям самим решать подобные вопросы. Было бы величайшей неосторожностью навязывать им то, чего они, несомненно, сами

желают. Иначе всю жизнь при малейшей ссоре они станут бросать в лицо друг другу этот упрек.

Нам ничего не оставалось, как вместе выпить по аперитиву: роль благородного отца свелась теперь к немногому. В голову мне пришла забавная мысль: вот как в наше время соединяются Корсика и Анжу, причем на это даже не требуется их согласия. Подобно донорам, мы не знаем, каким образом распорядятся нашей кровью: совершенно чужой человек, с которым еще накануне мы едва были знакомы, вдруг становится вторым дедушкой вашего внука… Ну да, дедушкой! Пришла мне в голову и другая, менее забавная мысль: новое поколение уже готово сделать из меня дедушку. Когда мой будущий сват, почти успокоенный, ушел, я взглянул в передней на себя в зеркало, и мне показалось, что у меня довольно потрепанный вид.

Впрочем, мсье Биони тревожился совершенно напрасно. Столь же требовательный к себе, как и к другим, Жаннэ (потому я и терплю, хотя порой он меня злит) не из тех, кто пытается ускользнуть от ответственности: скорее он сам рвется ей навстречу и «доволен, когда может доставить удовольствие другим» (как раздраженно говорил один из его учителей). В тот вечер, вернувшись

с работы, Жаннэ зашел ко мне в кабинет, где мы с Бертиль считывали отпечатанную в четырех экземплярах статью, и на свой манер объявил нам, какой оборот приняло дело:

— Скажи, папа, я ведь Жан Резо номер девять, если считать от королевского судебного пристава, почившего в бозе в тысяча семьсот шестидесятом году от заворота кишок? Так вот, на очереди следующий номер: Мари уже готовит десятого Жана Резо.

Он держал себя совершенно свободно и ждал нашего одобрения.

— Ладно, — сказал я, — а когда же ты женишься?

— Если можно, через месяц, и без торжественной церемонии.

Решительность, простота — браво! Что касается волнения, то я знал, яблоко от яблони недалеко падает: волнения он перед нами не обнаружит. Но я в таких случаях молчу, а Жаннэ пускается в рассуждения:

— Знаешь, что я думаю: без этого можно было бы и обойтись. Но раз уж так случилось, давайте разберемся и посмотрим статистику. Мы попали в те сорок процентов смельчаков, которые загодя обзаводятся первенцем. Но признаюсь тебе: вы-

шло это случайно, а раз уж он все равно появится на свет, мне немного обидно, что мы его сделали неумышленно.

— Сейчас еще очень легко от него избавиться, — сказала Бертиль. — А значит, сохранить его — все равно что сделать умышленно.

Мы замолчали, потому что в дверь четыре раза постучал Обэн, чтобы я подписал ему табель (Жаннэ стучит один раз, Саломея — два, Бландина — три, а Бертиль скребется). Но прежде, чем выйти, будущий отец расцеловал нас всех; он даже задержался и похлопал меня по плечу. Он-то был сделан умышленно, и если после смерти его матери в этом можно было усомниться, то ведь еще был я — живой свидетель этого факта. Час спустя, оставшись один в своем кабинете, я еще долго раздумывал над всем этим. Когда Жаннэ был маленьким, он, конечно, был мне гораздо ближе. Я очень любил его, моего мальчика! Но одно дело — просто любить, другое — непрестанно пылать и трепетать от любви. Быть может, с годами Жаннэ стал уж слишком на меня непохож. Возможно, он что-то терял в моих глазах при сравнении с прелестью дочерей, которые в конце концов помогают отцу понять, сколько нежности таится в женщине.

Когда позвонил колокольчик, призывавший к обеду, я перечитывал последнюю открытку со штемпелем Арресифе с острова Лансароте. «*Мы возвращаемся во вторник утром, увы!*» — сообщалось в ней. Но это было написано острым почерком моей матери, и ее черный росчерк перекрывал маленькую синюю подпись Саломеи, которая теми же чернилами вычеркнула слово «увы». Девочка, подумал я, наверно, не меньше меня устала от этого путешествия с такими короткими остановками, что нам даже ни разу не удалось связаться с ней. Как и Бертиль, я досадовал на это: раздосадовала меня и дата ее возвращения. Рискуя показаться невнимательным, я тем не менее не мог поехать в Орли встретить ее. Я обещал быть у нотариуса, мэтра Дибона, который именно в этот день пригласил трех братьев Резо к себе в Соледо. Мог ли я всех подвести? Нет, даже ради Саломеи.

XVII

В начале февраля шины всегда оставляют четкий след на мокрой глине аллей. Никаких других следов, кроме моих, нет — значит, до меня никто не приезжал. Правда, еще рано, поэтому я и проехал через «Хвалебное». Стойкий туман оживляет блекло-розовый тон наполовину выкрошившихся кирпичей, окрашивает в цвет морской волны потрескавшуюся черепицу, с которой вода, наверно, протекает на чердак, так же как у подножия стен она стекает на землю из лопнувших водосточных желобов. Вдали, в лугах, зима затопляет канавы и терпеливо обмывает расчерченную множеством живых изгородей беспредельную шахматную доску травы, по которой, каркая, бродят непромокаемые, черные, как зонтики, вороны.

Не успел я затормозить, как Марта Жобо вышла из своего дома. На голове у нее клеенчатый капюшон; на ногах резиновые полусапожки; в остальном же она бесстрашно пренебрегает сыростью, словно тело ее, пахнущее хлевом и кислым молоком, не боится воды.

— Значит, вы теперь возитесь с бумагами, — сказала она, — и скоро станете владельцем земли, на которой стоите. — Она захихикала: — Владельцем… Ну да, я хочу сказать: после мадам.

Я выхожу из машины и протягиваю ей руку, в которую она нерешительно вкладывает свою, вытерев ее о передник.

— Заходите, поболтаем у огонька, — приглашает она.

Я сажусь на низенькую хромоногую табуретку и грею руки над очагом, который был еще очагом Бертины и где по-прежнему горят суковатые дрова, наколотые из прикорневой части ствола, достающейся лесорубу, — Жобо, наверно, пришлось колоть их не час и не два, и мне только и остается, что слушать Марту. Чтобы не Терять зря времени, она вынимает из формы маленькие местные сыры, потом принимается полоскать поддонники.

— Да, прямо скажем, мадам больно круто повернула! Уж как она вас ругала! И, между нами, вы тоже не больно хорошо с ней поступили… — Марта берет миску и размешивает в ней квасцы, чтобы сыр стал острее. Она продолжает доверительным тоном: — Нужно сказать, мсье Марсель помог вам тем, что хотел заграбастать все наслед-

ство. А потом еще ваша барышня… Ну просто не верится! Видано ли, чтобы мадам так загорелась? Саломея — то, Саломея — се, только о ней и разговору. Мадам точно заколдовали.

— Она вам это говорила?

— Она мне все говорит, — ответила Марта. — Вы знаете, ведь мадам ничего не умеет делать, и теперь, когда она осталась одна, без служанки, просто жалость берет! Я видела, как она варила эскалоп: положила в кастрюлю с водой — и ну кипятить! А уж о белье и говорить нечего… Помочила — вот и выстирала; все серое-пресерое, и сушит над своей печкой, а печка-то дымит! Пуговица оторвалась — для нее это беда. Вот она и приходит, я ей помогаю, она мне рассказывает.

Марта берет тряпку, начинает вытирать формы для сыра, и, раз уж она пустилась в откровенности, ободренная нашими неурядицами и долгими годами мамашиных признаний, она выкладывает мне все:

— Простите, если не так скажу, но люди в Соледо скорее жалеют мсье Марселя. Такой приличный человек! Ходит в церковь! Жертвует на школу, на благотворительные дела.

Захватить себе все привилегии и при этом, занимаясь благотворительностью, прослыть

благодетелем — сия метода мне знакома: моя семья следует ей вот уже две сотни лет, и хотя здешние крестьяне давно забыли о почитании господ, хотя им кажется, что они досконально знают свои права, они до сих пор клюют на эту приманку. Отметим еще одну частность, которая привела бы в восхищение моего отца: Марсель ни разу не ремонтировал фасад, так что штукатурка с него обваливается пластами, — он предпочел поддерживать остатки былого семейного престижа. Вдруг Марта умолкает и прислушивается.

— По берегу идет автобус, — говорит она.

Я ничего не слышу, но ее острый слух крестьянки еще и не то улавливает.

— Автобус замедляет ход. Это мсье Резо приехал.

Не станем подскакивать от удивления: по традиции Марта называет Фреда, старшего сына нашего покойного отца, по фамилии, однако при этом она чуть морщится. Если автобус остановится в конце аллеи, кто может из него выйти? Из соседей — никто, иначе она бы это знала. Потому что она знает все, и в частности то, что у бедного мсье Резо нет машины.

Он тоже мог ехать прямо в Соледо. Но раз уж он проезжал мимо и столько лет здесь не был, он

не устоял перед желанием взглянуть на старый отчий дом, пусть даже из-за этого ему пришлось пройти под дождем целый километр. Я вышел на порог, чтобы посмотреть, как он появится. Но неужели этот человек, чей толстый живот торчит между болтающимися полами старого габардинового пальто, этот человек, который прикрывает развернутой газетой свой блестящий череп, неужели это действительно Фред? Он тяжело шлепает по лужам, медлит, глядя по сторонам и словно пересчитывая оставшиеся деревья. Я, право, узнал его, только когда он приблизился ко мне на расстояние двадцати шагов, да и то благодаря его искривленному влево носу и выступающему вперед подбородку, торчащему между двумя жирными полушариями отвисших щек. Почему в эту минуту мне пришла в голову мысль, что я только на полтора года моложе его? Я похолодел, и меня не утешила даже его первая фраза:

— А ты держишься молодцом, сукин сын! — И, помолчав немного, продолжает, а передо мной как будто воскресает прежний Рохля: — Ты видел? Она все нам тут вырубила, даже большой каменный дуб, посаженный первым владельцем имения. Страшно подумать! Если бы он отыскал-

ся, этот дуб времен Людовика Пятнадцатого, то оказалось бы, что из него сделан паркет в гостиной какого-нибудь торгаша… Пойдешь со мной? Я хочу посмотреть на остальное.

— Мадам запрещает мне открывать дом в ее отсутствие, — говорит Марта. — Но вы можете побродить по парку. Я дам вам зонтик.

Речь идет о красновато-буром зонте размером с церковный купол, под которым раз в неделю, сидя посреди базарной площади на табурете для доения коров, перед корзиной с яйцами и утками со связанными лапками, Марта стоически бросает вызов мокрому снегу в ожидании своих постоянных покупателей. Мы легко помещаемся под ним вдвоем и меланхолически обходим парк, превращенный в пустырь: телеги проложили здесь глубокие колеи, то тут, то там попадаются небольшие холмики, окруженные корнями, а в середине — деревянная плита, почти погребальная, которую вровень с землей оставила электрическая пила. Круглая плита говорит о том, что здесь было хвойное дерево, овальная — лиственное. Число концентрических кругов указывает на возраст покойных; я то и дело нагибаюсь и узнаю то гигантскую рябину, то рекордной высоты ясень, а по стойкому запаху

— серебристый кедр, секвойю с красной древесиной, каждое дерево — по шесть метров в обхвате. Я уже не впервые на месте этого побоища, где жадность, вероятно, играла меньшую роль, чем злорадство при виде того, как падают деревья, столь же представительные в генеалогическом отношении для семьи землевладельцев, как и те, кто их посадил.

— Стерва! — ворчит Фред в каком-то веселом бешенстве.

Фред, который все здесь помнит совсем иным и не может смириться с происшедшими переменами, снова вернулся к тону той поры, когда мы вырезали буквы М.П. — Месть Психиморе — на коре исчезнувших гигантов. Впрочем, вот уже четверть века ни он, ни я не приезжали побродить под их тенью. Ни он, ни я не можем считать себя совсем уж ни в чем не повинными. Мать пожертвовала деревьями Резо, я пожертвовал их идеями, Фред — их тщеславием, Марсель — их землей, словно каждый из нас участвовал в крупной афере по разрушению, считая при этом, что только его можно извинить. Впрочем, какая странная непрерывность в прерывном! Подобно мадам Резо, Фред ведет себя так, будто расстался со мной только вчера. Время лишило его волос,

как оно лишило «Хвалебное» столетних деревьев. Но Рохля, которому скоро пятьдесят, говорит своим прежним голосом:

— Смотри-ка! А вот и Кропетт.

К нам присоединяется генеральный президент-директор. Он издали видел, как мы спускались к пруду. Чтобы не промокнуть, он не вышел из машины, и его «мерседес» медленно катит по бывшей кольцевой дороге, которая отличается теперь от луга только тем, что трава на ней чуть пониже. Сухие веточки трещат под колесами. Поравнявшись с нами, Кропетт открывает дверцу и без всяких церемоний тоже укрывается под огромным зонтом Марты.

— Я так и думал, что застану вас здесь, — говорит он.

Да, это Кропетт — он на время свободен от своей жены и детей, от своих дел и забот, так же как мы свободны от наших. Он держится подчеркнуто непринужденно и даже здесь не может забыть, что он солидный буржуа, набравшийся американского духа и ставший крупным предпринимателем. Он носит в петлице скромный значок того братства, которое вербует своих членов среди руководителей предприятий и с благословения монсеньоров епископов — теперь

их чаще принято называть святыми отцами — изменяет характер, если не деятельность, благомыслящих властей. На мгновение он закатил глаза, когда увидел, во что превратился Фред. Но вот чудо: держится он почти просто и чуть ли не сердечно. Сегодня, видимо, в его интересах спуститься с высот, прикинуться любезным. Видимо, ему стоит немалых усилий не разыгрывать из себя важную персону. Но могло ли не поразить его редкостное событие, не случавшееся с 1933 года, — наше совместное пребывание в «Хвалебном»? На несколько минут он растаял. Он забыл про вопросы, упреки, расчеты. Он все забыл, как и мы. Старший, средний, младший не имеют возраста; годы, общественное положение, внешние приличия, выгода — все теряет свое значение, свой вес. Три брата стоят на берегу пруда под красно-бурым шелковым зонтом, по которому барабанят капли дождя. Только что они заметили лодку. Свою старую лодку. Из нее нужно вычерпать воду, которая уже почти покрыла решетку. Но дно ее просмолено, бока выкрашены, уключины смазаны жиром.

— Жобо ходит в ней на рыбалку, — говорит Марсель.

Мы все затаили сожаление: о юной силе наших

мускулов, об этих дерзновенных рейсах, когда мы широкими взмахами шеста гнали лодку против течения, направляя ее к узким стремнинам, где полая вода поворачивала ее поперек и прибивала к берегам, ощетинившимся черными колючками. И вдруг огромный зонт падает — Фред прыгнул в лодку. Из-под скамьи, где лежат багры, он выхватил черпак и, налегая всей тяжестью на один борт, вновь обретя прежнюю сноровку, стал вычерпывать мутную, грязную воду. Вот и готово. Когда черпак начинает скрести по дну, Марсель в свою очередь вскакивает в лодку, становится на носу, а я, как в былые годы, не заботясь о брюках, хватаю весло и, вспомнив свою давнишнюю специальность, отталкиваюсь от берега, держа курс прямо на мостик, откуда однажды Психимора прыгнула в самую тину. Все это мы проделываем молча. Да и о чем можем мы говорить, если общие у нас только воспоминания? Лодка скользит по болоту, в которое превратился ни разу не чищенный пруд, с юга на него надвинулись широкие заросли камыша — любимый приют диких уток, — площадь их теперь удвоилась, — а с противоположной стороны его сильно урезал обвалившийся берег, искрошенный копытами не одного поколения

парнокопытных, которые стали ходить сюда на водопой. Дождь не прекращается. Вымокшие до нитки, но словно вновь принявшие крещение, мы пересекаем пруд; нагнув головы, проплываем под мостиком и выходим в речку Омэ. Нас начинает покачивать, и это воодушевляет Фреда.

— Ну-ка, подналяг! — кричит он.

Бывало, заплыв между двумя сетями, мы нарочно баламутили воду, чтобы испугать рыбу и загнать ее в сети, где она зацепится жабрами. И вот мы, насчитывающие втроем пятнадцать детей, но сейчас сами настоящие дети, стоим в лодке, широко расставив ноги, и с хохотом дружно нажимаем то на правый, то на левый борт. Вода под днищем расступается, упругие волны устремляются к берегам, шлепают по ним, хватают мохнатые корни ольшаника и ивняка, возвращаются к нам, встречая на пути новые волны, которые с шумным всплеском то и дело откатываются от погружающейся все глубже лодки. Борта уже почти вровень с водой, она вот-вот хлынет в лодку — в этом и состоит игра. Еще чуть пригнувшись, чтобы не потерять равновесия, почтенные господа, теперь уже не босиком, как бывало прежде, и не в старых холщовых штанах, жмут еще сильнее… Уключины

касаются черного месива, поднимающегося со дна, и роскошный ком размокшего вонючего ила, сдобренного остатками гниющих листьев, летит в лодку, избрав местом падения ноги генерального президент-директора, который, перестав смеяться, кричит:

— Экая пакость! Хватит! Я набрал полные башмаки.

В результате мы опаздываем к мэтру Дибону, где нас ждет немаловажный сюрприз: в кабинете мы застаем не только нотариуса, но и нашу любезную матушку. По правде сказать, вид у нее довольно странный: напудренная, подмазанная, с накладным шиньоном, завитая, с подкрашенными волосами, в костюме цвета морской волны, с короткой, едва прикрывающей колени, юбкой. Она внимательно разглядывает нас:

— Смотрите, какие вы свеженькие!.. Что я вам говорила, мэтр? Они пошли в парк покататься на лодке, чтобы оживить свои воспоминания. — И, видя мое крайнее удивление, поясняет: — Да, рядом с Саломеей я была слишком похожа на фею Карабос. Вот я и решила одеться посовременнее… Сегодня в десять утра мы прибыли в Орли. Тебя там не оказалось, я позвонила Бертиль и узнала, что соглашение будет подписываться только

сегодня. Мы как раз успели к скорому поезду на Сабле, а мэтр Дибон был так любезен, что согласился нас встретить…

— У меня, дорогая мадам Резо, есть ваша доверенность, — сказал нотариус. — Но все мы предпочитаем, чтобы вы присутствовали лично. — И, обращаясь ко мне, он добавил: — Ваша дочь из скромности не решилась зайти сюда. Я поручил ее своей жене, пока мы будем беседовать.

Предполагалось, что беседа будет короткой, ибо в принципе все было заранее согласовано. Но как только нотариус коснулся подробностей, договаривающиеся стороны встрепенулись, и каждый «попытался схватить щуку по размерам собственной пасти» (как гласит местное выражение). Марсель, застывший было на месте, едва он заметил мадам Резо, и снова принявший оскорбленный вид (оскорбленный тем, что его поставили на одну доску с нами), напоминает, что две большие фермы теперь отделены от остального имения и что границей отныне будет река. Я легко с этим соглашаюсь. Но тут же он добавляет, что речь идет о ее северном береге и, значит, пруд окажется с его стороны, равно как и болото с дикими утками. Я возражаю, мотивируя тем, что в таком случае развлечения, подобные нашему

сегодняшнему, впредь будут мне недоступны…

— Давайте не смешивать жанры, — сухо отрезает Марсель.

Мне предоставляется право удить рыбу и кататься на лодке, но за это я должен уступить камышовые заросли, которые, как я понял, послужат приманкой для покупателя южной части имения, если он любит подстерегать уток в шалаше. По этому пункту соглашение достигнуто. Но Фред считает, что ему должны быть возмещены расходы на поездку. Мадам Резо, основываясь на том, что процент на ссуду повысили, требует, чтобы я платил ей с одолженной суммы на один процент больше. Ну и ну! Это последняя битва между буржуа, в которой каждый хочет доказать самому себе, что он умеет защищаться; в такой битве я никогда не одержу победы.

— Ну, скажем, полпроцента, — предлагает мэтр Дибон.

Пусть будет полпроцента! Эти мелкие препирательства раздражают меня и вызывают в памяти другую, очень давнюю сцену, происходившую в этом же самом кабинете, когда в нем еще царил покойный мэтр Сен-Жермен. Я сидел на том же месте, что и сейчас, но возле меня была сероглазая Моника с длинными загнутыми ресницами.

Что подумала бы она об этом реванше? Да и можно ли считать это реваншем? Моника сидела на стуле, у которого не хватало одной перекладины; этот стул и сейчас стоит здесь, опустевший… Она ничего не говорила, она тихонько раскачивалась на задних ножках стула и чуть иронически улыбалась. Будь она сегодня здесь, улыбалась бы она? И не прошептала ли бы мне на ухо, как это делала иногда, когда хотела вызвать на откровенность заносчивого сына мадам Резо: «Будь искренним с самим собою!» Да, конечно, она откинула бы голову, засмеялась бы своим переливчатым смехом… «Ну что ж, мой милый, ведь однажды ты сказал мне: „Теперь я слышать больше не хочу о Резо“… Признайся, что положение забавное. Ты не переставал производить на свет новых Резо — и со мной, и с Бертиль! А чем же ты жил все эти годы, кем занимался? Нет-нет, мой милый, не всегда ты был битым. Напротив! Ты член этого клана, и ты, мне кажется, больше, чем кто-либо, эксплуатировал остальных…»

— Вы совершили приятное путешествие? Не слишком это было утомительно? — спрашивает Марсель мамашу, пока мэтр Дибон готовит бумаги.

Мадам Резо вполголоса цитирует наизусть пу-

теводитель Бедекера… Зачем я буду искать себе оправдания? Да здравствуют мои противоречия, если они мне присущи! Я чувствую, как меня охватывает затаенное, но безудержное веселье. А ведь правда же, и сейчас эти дамы и господа, все без исключения, старательно избегают малейшего намека на мою профессию. Возникающая все время между нами неловкость вовсе не связана с вопросом денег — тут я легко уступаю им. Все, и прежде всего они сами, прекрасно знают, что им не дает покоя. «В молодости вас называли Хватай-Глотай, — писала мне мадам Ломбер. — Теперь вас чаще называют Людоед». Бывают счастливые минуты, когда они об этом забывают. Потом снова вспоминают, ежатся под моим жадным взглядом и втайне думают: «Calamus, calamitas».[17] Взгляните сейчас хоть бы на генерального президент-директора, этого примерного христианина, этого скромнейшего из скромников, который с готовностью поддерживает все: догму, порядок, богатство — и в этих незыблемых ценностях черпает и нравственную чистоту, и силу, и душевное спокойствие… Он прикрыл глаза! Под опущенными веками он чувствует себя как

[17] Примечания: 17
Перо (писателя) — это бедствие (лат.).

птица под крылом — тревожная, зябкая, когда налетает порыв ветра. Взгляните на нашу дорогую старушку Психимору, на этого злого демона семьи: как она меняется! Ведь не случайно же она сидит, повернувшись вполоборота. Взгляните на мсье Резо, которого, поменяв местами согласные, следовало бы называть Зеро,[18] как нервно он потирает руки! Еще немного, и я начну питаться одним молоком. А потом вдруг мне становится стыдно…

— Ну как детишки? В порядке? — вежливо осведомляется мадам Резо, чтобы прервать молчание, но забывает уточнить, к кому относится ее вопрос.

— В полном порядке, спасибо, — разом отвечают все три брата. Готовность, с которой мы ей ответили, знаменательна. В этом отношении все мы оказали ей одинаковое противодействие: каждый создал себе свою семью. И как раз дети, которым все мы в различной среде посвятили свою жизнь, именно эти дети и поддерживают наше полнейшее отчуждение. Жесткий взгляд мадам Резо скользит, не останавливаясь, с одного на другого.

---

[18] Примечания: 18
Ноль (франц.)

— Прошу вас вот здесь поставить свою подпись, дорогая мадам Резо, — весьма кстати предлагает мэтр Дибон.

Выход наш тем не менее был достаточно торжественным. От конторщика — к мелочному торговцу, от почтальона — к почтовому чиновнику — новость распространилась по всему Соледо. Под синими крышами низеньких домиков с журчащими водосточными трубами большая часть оконных занавесок пришла в движение. Несколько старух прочно засели за своими калитками, верхняя часть которых закрывается только на ночь, и головы их торчат оттуда, как лошадиные головы из стойла. Сам кюре в сутане (о костюме с пасторским воротником здесь и не слыхали!) читает на церковной паперти свой молитвенник. Мадам Резо очень медленно проходит два десятка метров, отделяющих ее от машин. Она уцепилась за мою руку и за руку Марселя, чтобы все это видели. Она и приехала-то сюда только ради того, чтобы развеять легенду. Чтобы широко продемонстрировать улыбку общего примирения. Но, не поворачивая головы, она бросает только что присоединившейся к нам Саломее, очаровательной в своем новом английском костюмчике, на котором блестит незнакомая мне брошь:

— Ожидая нас, ты не слишком скучала, моя птичка?

— Отвезти вас в «Хвалебное»? — спрашивает Марсель.

— Спасибо, не надо, — слащавым тоном отвечает мадам Резо. — Я вернусь в Париж с твоим братом… А ты вот что: возьми-ка с собой Фреда. Правда, мы оплатили ему поездку, но на этом он тоже кое-что сэкономит.

Так мы расстались. Прощание вышло несколько натянутым, дверца «мерседеса» хлопнула слишком сильно. Но пока я размышляю над тем, кто же, в сущности, сегодня больше всех выгадал, пока я выезжаю первым, испытывая неприятное чувство от того, что оказался шофером мамаши, она, удобно расположившись в машине, расточает через стекло дружеские приветствия.

XVIII

Я сразу заметил это: превращение коснулось не только туалета. Она строила гримаски. Она корчила рожицы. У нее появилось два разных голоса: одним она нашептывала в дорогое ее сердцу ушко; другой, излишне громкий, предназначался для того, чтобы подчеркнуть дистанцию. Все ее жесты, все взгляды выражали одно стремление — обнять, приласкать, коснуться. Впрочем, не больше: она еще не привыкла, она страдала от того, что так долго сдерживалась. Но никакое другое слово, кроме слова «страсть», не подошло бы для определения чувства, снедавшего эту женщину. Она словно возрождалась в этой страсти: одновременно была и прежней, и новой и как бы раскололась вдоль на две половинки. Одна половинка этой дамы — с той стороны, где печень, — несколько смехотворно помолодев, все же сохранила властные повадки Психиморы. А половинка со стороны сердца излучала улыбки — тут она была рабой своей внучки. К счастью, Саломея, все еще сумрачная, все еще поглощенная своими заботами, пока что, види-

мо, не сознавала до конца своей власти; ее даже раздражали чрезмерная предупредительность и назойливое внимание бабушки; иногда она с бесцеремонной откровенностью давала ей отпор, что вовсе не обескураживало мадам Резо, а, напротив, восхищало.

— По крайней мере всегда знаешь, что у этой девочки на сердце, — радовалась она.

Вспоминая, как матушка не терпела ни малейшего возражения с нашей стороны, я находил все это странным, а порой и оскорбительным. Прежде чем уехать в Париж, мадам Резо стала в моем присутствии отдавать распоряжения чете Жобо: этим она хотела показать, что по-прежнему считает себя хозяйкой. Затем тут же принялась намечать, какие ремонтные работы надо предпринять.

— Разумеется, не все сразу! — уверяла она.

Но к проводке электричества, и в самом деле необходимой, быстро прибавилась не менее срочная прокладка водопровода, который мог действовать только при наличии артезианского колодца и, разумеется, резервуара для фильтрации и поддержания напора воды, а также большого котла, чтобы обеспечить горячей водой современную кухонную мойку и ванную комна-

ту. Кроме того — разве она не права? — учитывая размеры дома и количество жильцов, которые съедутся на лето, если, как ей хотелось бы, мы будем проводить каникулы в «Хвалебном», необходимо установить два туалета: один — для мальчиков, другой — для девочек…

— А еще что? — совершенно обалдев, спросил новый владелец.

— Известно что! — не моргнув глазом воскликнула мамаша. — Раз вы приезжаете в июле, к этому времени нужно отремонтировать по крайней мере три-четыре комнаты.

— Это уж слишком, бабуля! — сказала Саломея. — Ведь папа же не фальшивомонетчик, он не печатает денег. Дядя Марсель ничего не делал. Почему же ты хочешь, чтобы мы делали все.

Впервые я услышал ласковое обращение к матушке, придуманное Саломеей во время путешествия, и впервые мне пришлось воспользоваться ее влиянием. Когда девочка сказала «мы», мадам Резо передернуло: от этого местоимения пахло неким содружеством (тогда как для нового поколения это просто словесный способ подчеркнуть свои права, заявить о себе как о полноправном члене семейного коллектива… оставляя нам, родителям, единственную привилегию: этот

коллектив финансировать). Но Саломея, не теряя здравомыслия (как это бывает с ней обычно, когда она не во власти чувства), уже перешла от множественного числа к единственному:

— Не знаю, почему бы тебе сначала не попросить ссуды на ремонт и модернизацию деревенского дома. Тебе, конечно, не откажут, тем более что водопроводом будут пользоваться и Жобо: ради фермы помогут и замку!

Выходит, Резо должны обращаться за помощью к государству, чтобы иметь возможность мыть своих ребятишек и свои овощи?.. Папа предпочел бы, чтобы надрывалась служанка, таская воду из колодца. Но матушка, пройдя путь от своего величия до падения, стала смотреть на вещи куда реалистичнее.

— Ты у меня умница, — сказала она. — Но хотя и на льготных условиях, это все равно заем — осилит ли твой отец еще и это?

«Осилить» я мог теперь весьма немногое, но упрекать меня в этом не следовало. Я уже не знал, отказываться мне или соглашаться, когда Саломея в своем простодушии повернула все совсем в другую сторону.

— Папа вытряхнул уже почти все, что у него было, — сказала она. — А ты?..

Вот что значит быть скрягой, оставаясь при этом гордячкой! Мадам Резо явно терзалась, хотя и хорохорилась. Но ее страсть к Саломее помогла гордости одолеть скупость. Не глядя на меня, не считаясь даже с моим присутствием, она обвила рукой шею моего юного адвоката.

— Ну так пополам, идет? — сказала она с нежной гримаской на лице.

XIX

Она пошла бы и не на такие жертвы, лишь бы оттеснить нас, лишь бы утвердить свое превосходство, совершенно не интересуясь ни тем, как мы к этому относимся, ни тем, какой она причиняет вред. И в любви, и в ненависти она была верна себе: упрямая, настойчивая, целеустремленная, безразличная ко всему остальному. Когда человек уже не может навязывать свою волю, он начинает хитрить, действует исподтишка, продвигается к своей цели не спеша. Но очень скоро стало очевидным, что она будет считать меня своим злейшим врагом всякий раз, как я буду пытаться помешать ей занять наше место возле Саломеи.

Уже в машине, на обратном пути в Гурнэ, куда ни Бертиль, ни я не собирались приглашать ее снова и куда она направилась по собственному почину, произошел ничтожный инцидент, послуживший началом целой серии знаменательных событий. Я передал руль Саломее — отчасти с тем, чтобы она могла воспользоваться недавно полученными ею правами, отчасти чтобы она

пересела с заднего сиденья. Мадам Резо, мгновенно скорчив кислую мину, выдержала не больше пятнадцати минут. Очень скоро она уже начала нервно крутить ручку, опустила стекло, жадно вдохнула воздух.

— Странное дело, меня же никогда не укачивало, — призналась она. — Спереди трясет гораздо меньше.

Мне пришлось уступить ей свое место.

Вечером, выйдя из машины в Гурнэ, мадам Резо чмокнула по очереди всех присутствующих, не особенно отличая их друг от друга, потом уселась в большое кресло у камина и стала раздувать огонь, чисто, впрочем, декоративный. При этом она, в который уже раз, словоохотливо описывая остров за островом, рассказывала о своем паломничестве в страну гуанчей и канареек. В каждом порту, на каждом пляже, при входе в каждую церковь она прежде всего видела Саломею, такую душечку в своем бикини, что можно понять этих дураков американцев, которые свистели от восторга, когда она проходила. Такую смелую, ежедневно поднимавшуюся в брючках на очередной вулкан. И при этом до того способную, что она мгновенно научилась объясняться по-испански. Мамаша была неиссякаема. Когда наконец

она решила перевести дух, Бертиль, воспользовавшись паузой, сообщила ей о предстоящей женитьбе Жаннэ.

— Ах вот как! — сказала мадам Резо, не поинтересовавшись ни датой, ни избранницей.

Поскольку Саломея поднялась к себе в комнату, Бертиль продолжала говорить — рассказала о посещении инспектора, о визите доктора Флормонтэна. На этот раз матушка слушала ее, нахмурив брови, приставив руку рупором к уху. Но когда Бертиль намекнула насчет писем, мадам Резо воскликнула:

— Надеюсь, вы их сожгли?

Бертиль возмутилась во имя свободы. Мадам Резо возмутилась во имя осторожности. Когда Саломея снова спустилась вниз, серьезная, сосредоточенная, молчаливая, мадам Резо удалось удержаться от вопросов, но она не могла скрыть тревогу, написанную на ее лице. Прошло несколько минут, прежде чем она вновь обрела хладнокровие.

— Кстати, милочка, может быть, тебе следовало бы сказать родителям, что ты собираешься пойти работать.

Впрочем, мадам Резо очень быстро внутренне собралась, вновь развила деятельность, целые

дни пропадала в Париже. Теперь мы, строго говоря, видели ее только по вечерам. Она возвращалась измотанная и в конце концов призналась Бертиль:

— Знаете, мне надоело всю зиму киснуть в «Хвалебном». Я давно хотела купить себе квартирку в Париже. Теперь, когда я получила свою долю наследства Плювиньеков, это стало возможным; но нужно еще найти что-нибудь за подходящую цену.

Совершенно ясно, что «в ее возрасте, при ее зрении, с ее слухом» разве могла она колесить по Парижу без Саломеи? И разве не следует чем-то занять девочку, пока мы подыщем для нее место?

Предлог был в самом деле отличный. Мы с Бертиль просто не знали, что делать с Саломеей. Если у бабули, которую Бландина продолжала называть бабушкой, тогда как Обэн, обращаясь к ней, употреблял слово «бабуся», говоря же в третьем лице — «бабинька», а Жаннэ намеренно величал «мадам», — если у бабули, казалось, была только одна внучка, то у нас с Бертиль было как-никак четверо детей.

Ей пришлось убедиться в этом в первое же воскресенье, когда мы все собрались вместе.

Бландина болтала о тряпках со своей сестрой — они были похожи на двух заговорщиц; Обэн приставал к Саломее, требуя, чтобы та решила ему десятую вертикаль кроссворда из «Л'Эглона»; Бертиль хотела примерить ей свитер, связанный в ее отсутствие; Жаннэ о чем-то пререкался с ними, а я внимательно смотрел на все это и слушал, в то время как сама Саломея — цветок в букете, дочь своей семьи — отдыхала от разъездов прошедшей недели. Нет, право же, эту семейную идиллию мадам Резо перенести не могла.

Она вся пожелтела. Она стала жаловаться на печень. Отказалась обедать, легла, заставила Саломею раз пять — не меньше — приносить ей чай; девочку это немного раздражало, и все-таки ее снисходительное отношение к бабушке не переставало меня удивлять.

Впрочем, что это — снисходительность или расчет? Или и то и другое вместе? Когда мне удалось наконец остаться с Саломеей с глазу на глаз, я тотчас спросил ее, как она терпит то, что моя мамаша до такой степени завладела ею, и девочка тут же призналась:

— Не скрою от тебя: она настолько же трогает меня, насколько и утомляет.

Секунду спустя она добавила:

— Что поделаешь? Раз нужно — значит, нужно.

Ее решительный вид ничего мне не объяснял. Но это несвойственное ей молчание позволяло догадываться о том, что будет дальше. Матушка оттолкнула от нас Саломею; пройдет немного времени, и Саломея оттолкнет ее от себя.

А пока что мадам Резо играла на всем. Она играла на своем возрасте, о котором напоминала нам непрестанно: трудно спорить со старым человеком хотя бы уже потому, что ему остается всего каких-нибудь два-три процента от его жизни. Играла на своем здоровье, причем ее эмфизема всегда вовремя вызывала у нее требуемый приступ кашля. Играла на своей ренте, не бог весть какой, но все-таки значительной; она не скупилась на советы бабушке Дару, которая пеклась о том, как бы понадежнее поместить свои деньги (и о том, чтобы от родителей к детям все переходило в должном порядке и согласно пресловутой формуле: «кровь, любовь, воспитание, наследство», причем этот последний фактор, хоть и наиболее подверженный случайностям, мог часто восполнять отсутствие других). Она играла на чувстве неловкости Бертиль, которая, опасаясь, как бы не создалось впечатления, будто

она хочет использовать ситуацию в интересах своей дочери, пыталась урезонить свекровь, но та принимала все упреки на себя.

— Я не хотела бы, чтобы девочка злоупотребляла… — говорила Бертиль.

— Но ведь это я сама злоупотребляю, — спокойно возражала мадам Резо. — Любишь не того, кого хочешь. Любишь того, кого можешь. При этом всегда происходит удочерение или усыновление. — И тут же колола в другое чувствительное место: — Жаннэ собирается жениться. Позвольте мне компенсировать расходы на свадьбу.

Я уж не говорю о том, как она снабжала Обэна марками, как притворно восторгалась фотографиями, изготовленными Бландиной. Мадам Резо пыталась действовать и через Батиста: просила его написать ее портрет. Не говорю я и о ее искусстве поощрять равнодушие, с одной стороны, и подчеркнуть малейшую выгоду — с другой. Например, она сказала Саломее:

— Твоя сестра еще совсем девчонка.

Бертиль:

— Вот сын вашего мужа и пристроен.

Мне:

— Когда старшие уедут, вы, в сущности, останетесь с вашими родными детьми.

Нет, у нас не было такого чувства, что от общения с ней мы становимся лучше, скорее нам казалось, что нас расшвыривает центробежная сила семейного хоровода.

Поэтому мы ощутили некоторое облегчение, когда спустя две недели матушка вернулась однажды вечером с коробкой пирожных, перевязанной тесемкой, и торжествующе сообщила:

— Одним выстрелом двух зайцев убили! Мне нашли квартирку, а Саломее работу! Помнишь Макса Бартоломи?

Да, я помнил об этом первом в нашей семье корсиканском браке одной из наших теток, обладательницы внушительного бюста, помнил и ее отпрыска, долговязого тощего кузена, который шутки ради придумал фразу, якобы произнесенную на смертном одре моим двоюродным дедом Рене Резо, скончавшимся от мучительной болезни предстательной железы.

— Хоть он и граф — папский, правда, — он великолепно пристроился, этот парень! — восхищенно продолжала мадам Резо. — ФБНЗ, ты понимаешь, что это значит: Французский банк по делам недвижимого имущества и земельной собственности — это ведь он. Реконструкция тринадцатого округа — тоже он. Я помню, Марсель

когда-то сказал мне: «Из всей нашей семьи только Макс и я действительно достигли какого-то положения. Но его очень сильно критикуют: эти строительные магнаты далеко не филантропы». Ну так вот, я набралась нахальства, пошла к нему, предварительно не условившись, и каким-то чудом он меня принял. Он прекрасно тебя помнит. Он так смеялся… «Ах уж этот Хватай-Глотай! Я торгую домами, а он — томами». Он, кажется, был в восторге от того, что может оказать тебе услугу.

— По правде говоря, я ничего у него не просил, — заметил я вполголоса.

— Ну ладно, папа! — вмешалась Саломея.

На ней опять новое платье, туфли и сумочка из крокодиловой кожи. Жаннэ и Мари сидели в уголке, прижавшись друг к другу, и раздевали ее презрительным взглядом; Бландина, слева от меня, умирала от зависти; Бертиль, справа, была сама снисходительность; а мне не импонировало ни одно из этих чувств, ибо они разрушали наше согласие. Но мадам Резо весело продолжала:

— Короче говоря, Макс моментально предложил мне очень недорогую трехкомнатную квартиру на восьмом этаже в «Резиденции Меровинги» на авеню Шуази, где у него есть конторы.

Ну а Саломея пройдет небольшую стажировку и будет сопровождать клиентов Макса.

Охваченная безграничной радостью, мадам Резо даже не заметила, что ее сообщение отнюдь не вызвало всеобщего энтузиазма. Больше всех была огорчена Бертиль, не спешившая выражать благодарность. Сама Саломея не скрывала чувства неловкости.

— Я начну с будущего понедельника, — сказала она, чтобы прекратить разговор.

— Кстати, это очень удобно, — добавила мадам Резо. — Раз она будет работать в том же доме, она сможет каждый день приходить ко мне обедать.

XX

После того как мадам Резо переехала в XIII округ, мы смогли наконец заняться другими проблемами. На сей раз их поставил перед нами Жаннэ (в ожидании новых проблем, которые возникнут в связи с Бландиной или Обэном: дети не могут освободить нас от забот, не освободив от самих себя). Общее правило — когда вопрос о браке уже решен, неизбежно возникают всякие осложнения; ведь молодые люди не столько женятся сами, сколько их женит множество причастных к этому людей: родители, друзья, бюро услуг, врачи-консультанты, рестораторы, ювелиры, поставщики и, разумеется, трое официальных лиц — представители нотариальной конторы, церкви и мэрии. Но у нас, кроме всего, была еще одна дополнительная сложность, нам всегда легче было сдвинуть с места стену, чем заставить Жаннэ хоть в чем-то отступить от его принципов.

Да, он женился. Но отвращение ко всему, что могло напомнить ему о его буржуазном происхождении, запрещало ему подписать брачный

контракт. Биони-отец, готовый дать за дочерью приданое в виде квартиры, посмел заговорить с ним о том, чтобы в контракте поставить пункт о раздельном имуществе.

— Начинать с раздела! Ну уж нет! — возмутился Жаннэ.

Вообразив, что Жаннэ зарится на его деньги, наш налоговый инспектор в бешенстве позвонил мне по телефону:

— Если моя дочь в таком положении, он считает, что ему позволено все!

Я разуверил инспектора: в каком бы виде ни предлагалось приданое, будущий зять станет считать, что его покупают. Поскольку Жаннэ не предполагал, хотя бы даже временно, жить у своего отца или у тестя, поскольку у него не было пяти тысяч франков, а незначительный срок его службы в компании не позволял ему обратиться с просьбой о денежной ссуде, он считал для себя делом чести переселить бедную Мари в какую-нибудь мансарду — это ее-то, единственную дочь, привыкшую к комфортабельной восьмикомнатной вилле.

— Он с ума сошел! — сказал Биони.

Вечером спор возобновился. Кто-то заговорил о кузене Максе, новом патроне Саломеи.

— Гангстер квадратного метра! Лучше сдохнуть где-нибудь под мостом, чем задолжать ему хотя бы сантим! — заявил Жаннэ.

На худой конец он соглашался принять в долг деньги, необходимые для минимального взноса за квартиру, но при том условии, что обе семьи дадут ему поровну. Это поставило бы меня в затруднительное положение: я только что обязался выкупить «Хвалебное»… хотя, пожалуй, если заложить дом…

— Категорически тебе запрещаю! — отчеканил Жаннэ.

Прошло несколько дней. Мари была уже на третьем месяце. Наконец появился спаситель: Батист Форю.

— Устроят тебя три комнаты во Второй башне на тринадцатом этаже, окнами на канал, с условием платить пожизненную ренту хозяйке? Рента чуть выше обычной квартирной платы. Хозяйке семьдесят шесть лет.

— Придется мотаться из Шелля в Париж, ну что же делать! Беру! — сказал Жан Резо (поколение № 9) с наивной серьезностью.

Пора было решить этот вопрос. Чтобы уговорить старую даму переехать в дом для престарелых, чета Биони втихомолку дала ей хороший

куш, о чем молодые супруги долго не подозревали. Но наши беды на этом еще не кончились. Мадам Биони пришла к нам обедать вместе с Мари, чтобы назначить день свадьбы, уточнить последние детали.

— В субботу, в обычной одежде, — потребовал Жаннэ. — И не больше двадцати человек за столом.

«Невеста стоит праздника», — говорили в старину добрые люди, глядя на свадебный кортеж. Я терпеть не могу, когда пускают пыль в глаза, но мне приятно, если по случаю торжественного дня все принаряжаются. Таково было и мнение Бландины, которая недовольно поморщилась:

— Из-за тебя мне не сошьют длинного платья.

Мари, чья талия уже несколько округлилась, не поддержала ее. Тем временем Бертиль считала по пальцам:

— Шесть Резо плюс две бабушки…

— Трое Биони, — сказала Мари, — плюс два дедушки и две бабушки, которые приедут из Бастии…

— Уже семнадцать! — воскликнул Обэн.

— А свидетели? А дяди и тети? — сказала мадам Биони, странная маленькая женщина со светлыми крашеными волосами, что так не вязалось с

цветом ее лица и корсиканским акцентом.

— А приятели? — спросила Бландина. — Ты хочешь оставить меня без кавалера?

Это был решающий аргумент: приятели спасли дядюшек.

— Ладно, согласен на тридцать человек! — проворчал Жаннэ.

Вообще-то он вовсе не скуп, скорее даже расточителен. Но поскольку шею его облегает ворот водолазки по современной моде, он терзаем заботой о своем престиже в новом его понимании, боязнью, как бы не сделать слишком много, — чувством, противоположным тому, какое мучило наших дедов: они боялись сделать слишком мало… Пусть будет тридцать человек, но где? «Желтые ворота» в Венсеннском лесу? «Червонный туз» за городом? Еще чего! Жаннэ не хотел ни большого зала, ни разнообразного меню в специальном ресторане для свадебных обедов. Сошлись на кабачке на берегу Марны.

— Мне остается только предупредить священника, — сказала мадам Биони.

— Что? — спросил Жаннэ.

— Но как же… — сказала Мари.

При этих односложных словах, полных куда большего значения, чем иные пространные рас-

суждения, пораженный Жаннэ на мгновение замолчал, уставившись на сидевшую с раскрытым ртом Мари. Для него это было, естественно, совершено исключено, а потому ему и в голову не могло прийти, что Мари другого мнения, как, впрочем, и всем нам — ведь у нас никогда об этом и речи не было. Для наших дедушек и бабушек — horrendum![19] — брачное свидетельство ничего не значило: только благословение церкви делало брак действительным. Для нашего же поколения — а ведь мы-то как-никак крещеные (заботами старших) — все это пустые формальности, ряд обычаев, от сугубо практических до чисто театральных: нотариус, мэр, священник, то есть деньги, бумаги, церемониал. Мне лично не хотелось выступать ни «за», ни «против».

— Не может быть! — сказал Жаннэ. — Неужели тебе нужен орган!

— Да, мне хотелось бы, — проговорила Мари.

— Гражданский брак! — простонала мадам Бионы. — Что мне придется выслушивать в Бастии! Что скажет мой муж!

— Да, — сказала Бертиль, — моя мама может от этого просто заболеть. А уж о свекрови и говорить

---

[19] Примечания: 19
О ужас! (лат.).

нечего!

Нет, мадам Резо, возможно, и не заболеет, она заметно изменилась со времен наставников в сутанах и семейной исповеди. Вино ее причастия уже основательно разбавлено водой, и пари держу, что отказ викариев от установленного порядка, от сутаны, от кухонной латыни, от индульгенций, от поста и излишней скромности не укрепил ее веры. Но она лишний раз предсказала бы конец света! Жаннэ, которому нужен был козел отпущения, взорвался:

— Ах, бабушка Резо! Ну, тут уж скажу прямо: придет — что ж поделаешь! — не придет — тем лучше! Я прекрасно обходился без нее, так же как и она без меня, с самого моего рождения.

Бедный мальчик! Он страдал, как раввин, которого заставили есть свинину. Я знаю его любимые изречения: «Где рождается обязанность, там умирает выбор». Или: «Дерзай, противопоставляй, излагай, но не уступай никогда». С ним нелегко иметь дело, с моим сыночком! На пути к правде он не признает окольных троп, но он умеет думать и о других, а так как «другой» в данном случае была Мари, которая в своем положении имела право на мягкую скамеечку, чтобы становиться на колени в церкви, то у нее были

шансы одержать верх. Как мужчина мужчине, он, возможно, поплакался бы в жилетку Батисту; и я уже представляю себе, как тот картавит: «Что поделать? Для полного счастья девушкам нужны всякого рода кропила». Жаннэ, вероятно, не прыснул бы со смеха: его поколение, которое быстро сближается, но так же быстро и обижается, целомудренно в речах и не понимает подобных шуток. Сейчас он медленно произносит:

— Ну, если ты веришь в это, пойдем! Я-то пойду туда только для проформы.

— Тебе ведь не трудно будет еще раз ответить «да»? — сказала Мари.

— Кому? Чему? — проворчал Жаннэ.

— Мне, — прошептала Мари.

Голова Жаннэ качнулась на длинной шее, потом склонилась к голове Мари, и светлые волосы смешались с черными. Все было решено: мы заедем в Нотр-Дам-дез-Ардан. Мадам Биони вздохнула с облегчением. Я был не слишком горд тем, как разрешился спор. Бертиль, которая уже несколько раз поглядывала на часы, прошептала:

— Интересно, что делает Саломея. Она мне звонила, предупреждала, чтобы ее не ждали. Но ведь уже девять часов…

— Может быть, она пошла в театр с мадам Резо, — сказал Жаннэ. — Это будет всего только шестой раз за две недели.

— Я бы об этом знала, — ответила Бертиль, борясь с сомнением, написанным на ее лице.

XXI

По крайней мере через час после ухода Биони, когда со стола уже было убрано, а посуда вымыта, на машине подъехала Саломея и остановилась под фонарем. Она хлопнула дверцей маленького белого «остина». Потом, ровным шагом перейдя двор, стуча каблучками на каждой ступеньке, вошла, закрыла за собой дверь и сказала невозмутимым тоном:

— В первый раз поехала на новой машине, и надо же — шина лопнула.

Обо всем здесь принято оповещать заранее — о новой же машине ничего не было сказано. А потом, это уж слишком. Кроме Обэна, который, как обычно, льнет к своей сестрице, все мы смотрим на нее строго. Бертиль, нахмурив брови, опускает голову.

— Я тут ни при чем, — говорит Саломея. — Этот «остин» стоял у дверей на авеню Шуази. Он был уже оплачен и зарегистрирован на мое имя.

При всей непосредственности ее поведения, при всей искренности взгляда в ней чувствуется какая-то сдержанность. Она говорит правду.

Но, вероятно, не всю правду. Она всегда была решительной, но это шло на пользу всей семье, а сейчас создается впечатление, что она несколько отошла от нашего содружества, что она ведет какую-то свою игру, заняв позицию между нами и мадам Резо. Я не могу не вмешаться:

— Ты все же должна была бы напомнить своей бабушке, что вас четверо.

Четверо… Всегда относясь к ней как к своей дочери, я не мог не считать ее внучкой моей матери. Мадам Резо отлично это понимала: особое положение Саломеи и есть то, что нас парализует. Хотя сама мадам Резо деликатностью не отличается, она рассчитывает, что мы проявим ее в полной мере. Никто не решится напомнить Саломее, что, в конце-то концов, она не Резо, а Форю. Никто не осмелится прямо сказать ей, что мадам Резо хочет снова утвердить среди нас несправедливость, которая усугубляется оттого, что Саломея не из семьи Резо.

— Нас даже пятнадцать, если считать двоюродных братьев и сестер, — сказал Жаннэ.

Причем вид у него такой, будто ему это безразлично. Не дай бог про него подумают, что он завидует! Он ничего не ждет от мадам Резо, которой следовало бы резать каждый торт на пят-

надцать частей. Он предпочел бы уступить свой кусок двоюродным братьям и сестрам, которых и в глаза не видел. Саломея покраснела, потом побледнела. Стоя позади Обэна, она нервно запускает все десять пальцев в волосы и, обращаясь ко мне, протестует:

— Ты знаешь свою мать. Она начисто лишена чувства меры и никому не позволяет себя урезонить.

— Нужно уметь отказаться, — заметила Бертиль.

— Если бы я могла… — сказала Саломея.

На что она намекает? На первый взгляд это должно означать: «Разве вам непонятно, что бабуля никогда никого не любила, а вот меня она любит? Что в ее нежности есть что-то болезненное, вроде рака? Отказаться значило бы оттолкнуть ее; у меня на это не хватает мужества». Но это может означать также (или вместе с тем): «В конце концов, то, что она мне дарит, мне нужно, зачем же я буду лишать себя этого?» Где оно, время наших открытых дискуссий, где оно, то время, когда после ежедневных маленьких стычек на нас обрушивалось все ее обаяние? Саломея совсем ушла в себя; далекая, она невидящими глазами смотрит телевизор, где меняется

изображение, а звука нет — Бертиль его выключила. Саломея не встает с места, чтобы повернуть ручку. Несколько секунд она улыбается, потому что Обэн щекочет ее и кричит ей в ухо:

— Эй, ты! Вылези хоть на минутку из своего холодильника!

Но потом Обэн уходит к себе в комнату спать, и Саломея снова мрачнеет; она поворачивается к матери и говорит вполголоса:

— Кстати, мама, я теперь работаю, зарабатываю себе на жизнь. Если ты не возражаешь, я хотела бы получить юридическую дееспособность, хотя бы для того, чтобы открыть счет в банке.

Бертиль, которая пришивает пуговицу, резко протаскивает нитку, прежде чем ответить:

— Это бабушка вбила в голову тебе такую мысль? Во всяком случае, спроси у отца.

Я не возражаю. Будучи сторонником совершеннолетия в восемнадцать лет (ибо в этом возрасте у иных девушек уже есть дети, а мальчики могут подставлять себя под пули — и те и другие имеют основания претендовать на права гражданства), я всегда говорил детям, что предоставлю им независимость по первому их требованию. Впрочем, Саломея сама освободилась от зависимости в отношении вещей куда более важных, нежели

счет в банке. Если истинная причина состоит в том, что она хочет иметь возможность самостоятельно выбирать себе местожительство, наш отказ ее не удержал бы. Бертиль, которая смотрит на меня во все глаза, должно быть, разочарована, видя, что я утвердительно кивнул.

— Согласен. Это пятиминутное дело. Завтра же сходим в канцелярию местного суда.

— Хорошо, — сказала Саломея. — Но только бумаги, касающиеся меня, подписывать должна мама.

XXII

Мы оставили машины на трех площадях, которые образуют центр Ланьи: на площади Ратуши, Лафонтена и Хлебного рынка. Небольшими группами мы вошли в кирпичное здание мэрии, бывшее аббатство, где красуется герб города с изображением одного из гвоздей распятия и доска с надписью, гордо сообщающей, что в марте 1430 года здесь проезжала Орлеанская дева. Она допустила только одну ошибку: отбыла отсюда в Компьень, где ее стащили с лошади, вцепившись в плащ с капюшоном. Две другие девы, по крайней мере считавшиеся таковыми вплоть до сегодняшнего вечера, о чем свидетельствует клубящаяся белизна их фаты — одна фата побольше, другая поменьше, — уже поднялись по устланной красным ковром парадной лестнице, притронувшись по пути рукой к начищенному до блеска медному шару, ибо во многих мэриях считается, что он приносит счастье. Кто-то из присутствующих, увидев на правой стене картину, где изображен умирающий бледный Сократ, орошаемый слезами Философии, заметил:

— Ну, это-то надо было все-таки повесить в другом месте, там, где регистрируют смерти.

Мы шагаем по коридору, некогда составлявшему часть монастыря. Нет жениха и невесты. Нет матушки, нет и Саломеи, которая поехала за ней на машине.

— Куда же они запропастились? — повторяют Биони, представившие нам своих родичей — Биони и Паолино (фамилия мадам). Мы же при нашей немногочисленной родне, как со стороны Арбэнов, так и со стороны Резо, могли представить им только нескольких Дару. И все это время среди нас расхаживала какая-то дама, вознамерившаяся во что бы то ни стало прицепить к каждому пиджаку флердоранж, сделанный из тафты и стоивший один франк.

Наконец появляются Жаннэ и Мари — оба в костюмах из одной и той же темно-голубой шерсти, в одинаковых светло-голубых рубашках, галстуках и с платочками в кармашке. Они выпили по кружке пива со своими свидетелями, вошедшими вместе с ними. Сейчас ясно, что, останови они свой выбор на Арно Макслоне, словно созданном для роли свидетеля, директоре налогового управления, который, конечно, оказал бы честь своему инспектору, это слишком бросалось бы

в глаза. Молодые предпочли школьную подругу Мари, маникюршу, и молодого программиста, сослуживца Жаннэ, который работает тоже на электронно-вычислительной машине и к тому же выполняет обязанности профсоюзного делегата. В сущности, мне это весьма симпатично. Когда я женился на матери Жаннэ, свидетелями были ее патрон, мэтр Ган, и моя консьержка. Проходит служащий мэрии, приглашает опоздавших:

— Вступающие в брак, прошу в зал номер семнадцать!

Дольше ждать матушку и Саломею уже невозможно, мы поднимаемся и входим в просторный зал, выдержанный в стиле Второй империи: стены и кресла обиты пурпурным шелком, плафоны и зеркала отделаны золотой лепкой, огромный камин облицован черным мрамором в античном стиле. Гипсовая статуя Республики времен начала Третьей, со звездой в волосах, смотрит невидящим взглядом на принарядившихся граждан Пятой и на перечеркнутого трехцветной перевязью мэра, уже стоящего за столом из зеленого мрамора, инкрустированного белым мрамором с красными прожилками.

— Да, денег у них хватало, при Второй-то империи! — враждебно заметил Жаннэ: ему не

повезло, он попал в один из самых роскошных залов для регистрации браков, какие только есть в окрестностях Парижа.

Тише! Мэр сочетает браком первую пару, которая решила не посрамить стенные панели зала и выставила шесть молодых людей в смокингах и шесть девиц, затянутых в розовый атлас.

— Союз мясников: мясная лавка Лэр и колбасная Ломбар женят своих детей, — шепчет Биони, назубок знающий всю картотеку налогоплательщиков.

Известно, что если прежде заботились о фасаде дома, то теперь заботятся о вывеске. Я хронометрирую: на чтение кодекса законов, на подписание контракта и поздравительную речь требуется двенадцать минут, в течение которых слово «мадемуазель», состоящее из одиннадцати букв, сокращается до «мадам». Подобрав свою фату, невеста со спины становится похожа на шелковичного червя в коконе — ее жизнь будет долго разматывать нить этого воспоминания. Да и сам я, признаюсь… Я сижу рядом с Бертиль, но слева, между Жаннэ и мною, я чувствую тень Моники. Через Жаннэ я остаюсь мужем умершей, а Мари, которая соединилась с нашим сыном, лишь продолжает в своем чреве то, что было начато

в другом.

Тем временем появляется чаша для сбора пожертвований на бедных. Потом на школы. Следующая пара! Подходят бывшие воспитанники общественной благотворительности в сопровождении служащих местного магазина стандартных цен, где оба они работают, где они познакомились. Магазин целиком взял на себя расходы, связанные с их бракосочетанием. Приятно слышать, как они отвечают «да» своими звонкими голосами. Мэр, человек явно начитанный, желая им счастья, признается, что он вовсе не считает сиротский удел такой уж удачей, но зато, поскольку у них нет семьи, они будут свободнее нести ответственность за ту новую семью, которую создают… Официальные поздравления. Снова сбор пожертвований. Подписывая брачный контракт, невеста сажает себе на платье чернильное пятно. Нас оставили на закуску. Теперь мы хозяева ста квадратных метров наборного паркета. Из глубины зала мы проходим вперед и занимаем места в первых рядах. Сидя перед зеленым мраморным столом на двух высоких золоченых креслах, предоставленных им муниципальной щедростью, Жаннэ и Мари смущенно ерзают, не очень понимая, как в них

расположиться. Мэр, ненадолго отлучавшийся, видимо, по естественной надобности, мелкими сухими шажками возвращается на свое место. Секретарь начинает читать:

— Мари-Женевьева-Роза Биони, дочь Анжа-Себастьена-Леона Биони и Клары-Марии Паолино…

Стоп. Именно этот момент и выбрала мадам Резо, чтобы появиться в главных дверях под руку с Саломеей. Жаннэ смущен: если на сестре короткое парчовое платье, то мадам Резо — в «Хвалебном» она ходит замарашкой — с высокой прической, в длинных перчатках, в длинном платье из лилового бархата, на котором переливается ожерелье из топазов — вероятно, подделка, но довольно эффектная, — извлеченное из того же футляра, что и ее браслет и серьги с подвесками, приближается медленным, торжественным шагом.

— Прошу вас, мадам, — хором говорят мужчины из первого ряда, вставая, чтобы предложить ей стул.

Она не убыстряет шага, демонстративно кланяется мэру и, получив от него ответный поклон, садится с Саломеей в последнем ряду, тем самым заставив любопытных обернуться в ее сторону — о зеленом столе они забыли по меньшей мере

на целую минуту. Не подавая виду, мадам Резо чувствует, однако, что ее прекрасно узнали даже те, кто никогда ее не видел. Взгляды рикошетом перескакивают с нее на меня, порождая в нас обоих неловкость, в которой мы никогда не признаемся, о которой никогда не будем говорить. Но я при этом остаюсь самим собой, она — нет. То усердие, с каким она старается существовать во плоти, с каким добивается, чтобы все ощутили ее присутствие, еще настоятельнее наталкивает на сопоставление теперешней мадам Резо с неотделимым от нее двойником. Так уж устроены люди: если какой-то человек сильно изменился, никто не ищет в нем новых черт: все стараются найти, что же он сохранил от прошлого. Когда я был ребенком, мадам Резо держала меня взаперти. Я отплатил ей за это сторицей: теперь она как бы скована льдом.

— Вряд ли мадам Резо в восторге от того, что скоро станет прабабушкой, — шепчет мне на ухо сидящая за моей спиной бабушка Дару.

Безусловно, нет: женитьба сына уже возвещает отцу, что в качестве такового он самою природой переводится на пенсию; рождение сына у сына вашего сына (предположим, что родится мальчик) отодвигает вас, прабабушка, в допотопные

времена. Впрочем, хотя мамаша в свое время и обеспечила продолжение рода Резо, ей наплевать на то, будет он существовать дальше или нет. Это чувство, возникшее не вчера, с годами могло лишь укрепиться. Как и для многих старых женщин, для нее наше будущее лишено смысла с тех пор, как оно возобладало над ее прошлым. Ее потомство! Само по себе это слово означает, что она уже в прошлом. Мадам Резо, которая не питает склонности к Жаннэ, могла бы и не являться сюда, сославшись, скажем, на простуду; и все же мадам Резо здесь, ибо снова, увязавшись за нами по не совсем еще ясным для нас причинам, она сознается в двух из них, совершенно очевидных: она хочет утвердить себя и хочет показать, что прошлое торжествует над будущим.

Она показывает это, как и полагается, постепенно впадая в дремоту, которую можно ей простить, если учесть монотонность чтения и пространную речь, произносимую мэром, личным другом верного слуги государства Анжа Биони: мэр поздравляет сперва его, отца невесты, затем второго отца, лицо не столь официальное, однако же вполне достойное; он начищает до блеска нашу примерную жизнь, как пару ботинок, которую дорогим деткам, в сущности, остается только

надеть, чтобы бодро шагать по уже проторенной дорожке… Моя профессия, связанная с морализированием, выработала во мне необычайную стойкость к проповедям. Но если даже самого представителя налогового управления, умеющего куда лучше справляться с цифрами, нежели противостоять словам, Кларе-Марии приходится толкать локтем, то Саломея дважды толкает матушку, чтобы вывести ее из сонного оцепенения в момент, когда молодые должны сказать «да».

Она ожила в полумраке Нотр-Дам-дез-Ардан, бывшей церкви аббатства, составляющей единое целое с мэрией. Мы пришли туда все вперемешку. При входе, освещаемом витражом в форме павлиньего хвоста, мадам Резо втянула носом знакомый запах и бросила деланно небрежный взгляд на доску объявлений, где под расписанием фильмов приколоты извещения о свадьбах, заменившие собой церковное оглашение предстоящих браков. По другую сторону обитых дверей она удостаивает таким же взглядом лоток, где разложены благонамеренные газеты и журналы. Она даже листает какой-то журнал, чтобы не принимать участия в коротком совещании между тестем Жаннэ, желающим взять под руку свою дочь, и Бертиль, которая не считает, что

должна вести под руку своего приемного сына. Бертиль права: в принципе, поскольку Моники уже нет, вести внука должна бабушка. Но Жаннэ предпочитает идти со своей женой.

— Да оставьте вы его! — шепчет мадам Резо, подставляя согнутую руку дедушке Паолино.

Жаннэ уже проходит; ему не по себе. Для него нет ощутимой разницы между этой готической церковью, Луксорским храмом или «Мэзон карре» в Ниме: все эти святилища разных эпох если и говорят ему о чем-то, то лишь как произведения искусства. Крестили его по желанию матери. Он до сих пор упрекает меня за это. Но свобода, царящая у нас в доме, позволила ему от всего остального отказаться (равно как и его братьям и сестрам, за исключением Бландины, которая приняла первое причастие и этим ограничилась). Жаннэ не мог бы назвать святых, населяющих церковные витражи и стены — кто с ключом, кто с лилией, кто с короной на голове, кто с собственной головой в руках — и занятых своими делишками среди свечей, колонн и эксвото[20],

[20] Примечания: 20

*Эксвото — картинки, которые католики рисуют в дар святым за совершенное ими чудо или наладившуюся жизнь. Обычно выполняются непрофессиональными художниками на листе жести в намеренно упрощенной форме.

которыми прихожане увешали церковь. Эти святые не имели никакого отношения к тому, что интересовало Жаннэ и никак не было связано с религией. Когда Мари нечаянно спотыкается о ступеньку — дальше уровень пола в церкви повышается, — Жаннэ шепчет своему отцу, который идет вслед за ним под руку с мадам Биони:

— Послушай! Если я даже отвечу священнику «нет», все равно я уже женат.

Теща испуганно таращит глаза. Но все идет как по маслу. Биони — люди известные в округе, поэтому народу набралось порядочно; правда, больше половины стульев свободны. Мадам Резо достает знаменитые четки из слоновой кости, оправленной в золото, и невозмутимо перебирает их. Когда зазвонил колокольчик, среди присутствующих, как обычно, началось движение. Сидеть или стоять — это еще куда ни шло, на это согласны представители обоих полов; но, когда женщины преклоняют колени, многие мужчины продолжают стоять. Слышен шепот: «Четыре ряда колонн разностильные. Вы обратили внимание на аналой из плексигласа, да еще с микрофоном? Не знаю почему, мой дорогой, но соединение священного с современным, по-моему, отдает подделкой. Я уже не говорю об

этих ужасных занавесках на хорах — все-таки памятник такой ценности… не следовало бы позволять…»

— Да, — произнес Жаннэ во второй раз; было это в одиннадцать часов семнадцать минут.

Все остальное происходило в том же духе. Наши церемонии частично утратили уже свой смысл: чаще всего мы считаем, что лишь равнодушие или ироническое отношение к этим ритуалам способны извинить наше участие в них. Когда-нибудь придет время, и люди вновь искренне поверят в серьезность праздников. А пока что все делается как попало и царит сумятица. Жаннэ с трудом вынес длинную процессию друзей и родственников, пришедших его поздравить; с большинством он даже не был знаком, и процентов шестьдесят из них с нетерпением смотрели на часы. Он вышел, бурча:

— Если девушка отдает вам свою руку, почему вы должны пожимать двести других?

Он счел (и, конечно, не ошибся), что бабушка бросила ему вызов, когда вручила на паперти свой свадебный подарок: перстень с печаткой — гербом Резо, — принадлежавший его дедушке.

— Спасибо! Я соскоблю эту чушь и выгравирую мои инициалы, — сказал он, засовывая подарок

в карман.

Погода стоит относительно хорошая. В перерывах между двумя дождями со снегом март снова дарит нам небесную синеву. «Уткина заводь», кабачок на сваях у самого берега Марны, приятен, несмотря на свое сомнительного вкуса название и это толстое стекло посреди паркета, под которым в зарешеченном загоне плещется дюжина уток: они предназначены для вертела, как та форель, что ждет своего конца в аквариумах шикарных ресторанов. Меню, по желанию Жаннэ ограниченное тремя блюдами и двумя сортами вин, подобрано вполне пристойно. Но мадам Резо дуется: дело в том, что две корсиканские бабушки старше ее, а значит, хоть в чем-то ее перещеголяли. Новые туфли натирают Бландине ноги. Обэн паясничает. У Саломеи, которая только что беседовала с доктором Флормонтэном, пришедшим поздравить молодых, вид еще более отсутствующий, чем обычно. Все, кому меньше двадцати пяти лет, разговаривают между собой в случае необходимости через голову пожилых людей. Имея привычку, как глухой, читать по губам, я, кажется, расшифровал по движению губ моей невестки, которая изнемогает, зажатая среди стариков, едва слышный шепот, вызвавший

улыбку моего сына:

— На свадьбе должна быть только молодежь, а на похоронах — старики.

Шутка попала в цель. Просто диву даешься, как послушаешь, что говорят так называемые «солидные люди», сойдясь за стаканом вина. Сказанное ими можно проспрягать заранее: я говорю о погоде, ты говоришь о деньгах, он говорит о еде, мы говорим о нашей печени, вы говорите о машинах, они говорят о своей заднице. Можно предположить, что за сыром, оттолкнувшись от этой последней темы, некоторые доберутся и до передовых идей. Едва сидевший справа от меня Батист определил любовь как единственную общую точку между двумя параллелями, сидевшая слева от меня Эмелина Дару, преподавательница из Шанталя, заявила, что этот, хотя и несколько рискованный, образ все же точен, ибо все остальное никогда не соединяется. Ей передают торт с вишнями, и, усиленно его поглощая, она вознаграждает нас приторным, как торт с кремом, банальным изречением: «Каждый сам по себе». Затем следует совет нашим окрутившимся деткам, чтобы утешить этих новичков:

— По сути дела, существуют новобрачные, но брака не существует.

Обсуждается институт брака. Беглый обзор разных его вариантов: моно-, тетра-, полигамия. Беглый обзор ситуаций, в целом тоже заслуживающих уважения, которые можно было бы назвать тайнобрачными, единобрачными, многобрачными. Эмелина совсем расчувствовалась. Она отменяет брак. И все дети, и все союзы: вдвоем, втроем, из пятнадцати членов, из n+1 членов становятся законными. Мадам Резо, которая основательно заправилась, а потому пришла в хорошее настроение, сочувственно наклоняется к мадам Дару:

— Это… ваша дочь?

— И не говорите, — отвечает ей эта милая женщина. — Еще совсем крошкой она кричала в кондитерской: «Долой конфеты!»

Но Анж Биони протестует. Налоговый инспектор, он не может допустить, чтобы любовь не была зарегистрирована. Он отхлебывает глоток кофе и уверяет, что при всем том он человек широких взглядов. Потом делает еще глоток и соглашается, что отель, надо сказать, иногда все же предшествует алтарю, вместо того чтобы за ним следовать. «Но кто же тогда отец, по вашей системе? Как вы, мадемуазель, его определите?» Многие зевают. Переходим к ликерам. Не

знаю уж каким образом, зашла речь о королеве Елизавете. Батист пользуется этим, чтобы опять напасть на Эмелину. Король достаточно великодушен, чтобы сделать свою жену королевой; королева же может сделать своего мужа только принцем-консортом[21]. Эмелина тут же переворачивает этот аргумент по-своему: вот до чего доходит дискриминация женщин! Королева не настолько королева, чтобы сделать своего мужа королем, — вот в чем суть. Переходим к сигарам. Эмелина продолжает ратовать за эмансипацию своих сестер — царствующих и всех прочих…

— Анж, время-то идет, — говорит наконец мадам Биони. — Не пора ли нам освободить зал?

[21] Примечания: 21

*Принц-консорт — супруг правящей королевы, сам не являющийся суверенным монархом в своем праве.

XXIII

Он ушел; теперь он будет приходить к нам только в гости, в сопровождении спутницы его новой жизни. Скоро он утратит общие для всех нас привычки, ставшие уже непроизвольными навыками, забудет, где обычно лежит щетка, консервный нож, открывалка для бутылок. Наш сын уже не принадлежит к числу тех, кого называют детьми в собственном смысле этого слова, относящегося ко всем, кто без различия в возрасте продолжает жить в родительском доме. Теперь он сделался женатым сыном. Но до того, как он станет для нас получужим, отсутствие его еще много недель будет ощущаться сильнее, чем прежде ощущалось его присутствие. Комната его по-прежнему остается его комнатой. Мы еще долго будем говорить: «Ты видел? У Жаннэ потрескался потолок». Нам будет недоставать его умелых рук: «Ну вот! Кто же теперь починит нам выключатель?»

Его место за столом, справа от Бертиль, оставалось пустым. Обэн, которому следовало бы пересесть туда со своего места слева от матери, не

осмеливается на эту рокировку. Многие стороны жизни, с которыми мы раньше соприкасались, исчезли для нас вместе с приятелями Жаннэ: исчезла электроника, о которой эти юные очкарики вели увлеченные и непонятные нам разговоры; исчез спорт — перед нами больше не появляются мускулистые атлеты в майках с эмблемами своих клубов, и Бландине уже не приходится возмущаться, как прежде, когда ее заставляли смотреть по телевидению какой-нибудь матч вместо театральной программы.

Тем более жестоким ударом было для нас неожиданное решение Саломеи. Бертиль вернулась встревоженная: ей, как и мне, не понравился разговор дочери с доктором Флормонтэном; к тому же по возвращении из Ланьи она слышала, как Саломея позвонила ему и о чем-то говорила с ним вполголоса, а потом даже словом об этом не обмолвилась. Наступление начала в воскресенье днем мадам Резо, оставшаяся у нас на уик-энд. Когда Бертиль сказала, что Саломея плохо выглядит, та призналась, что действительно похудела на три кило.

— Она же целый день на ногах, — вмешалась мадам Резо. — С утра до вечера носится по Парижу, бегает по этажам… Да еще тратит час на

дорогу туда да час обратно, причем в самую толчею.

И в самом деле, Саломея работала теперь не только на авеню Шуази в конторе Макса. Она ездила показывать квартиры в его домах, разбросанных чуть ли не по всему Парижу. Кроме твердого жалованья, она еще получала определенный процент и хорошо справлялась с работой, но бабушке очень часто приходилось завтракать без нее.

— Как она может все это выдержать? — продолжала мадам Резо. — Надо избавить ее по крайней мере от езды на работу и домой. Она вполне может жить у меня.

— И мы ее совсем не будем видеть, — почти резко сказала Бертиль. — Благодарю вас, но я вовсе не желаю разлучаться со своей дочерью. Согласитесь, что место ее скорее со мной, чем с вами.

— Разве об этом речь? — вкрадчиво заметила мадам Резо. — В таком возрасте для Саломеи главное — не вы и не я, а ее работа. Мне удалось ее устроить. И я хочу только, чтобы она могла сохранить это место. Но если вы предпочитаете, чтобы она так моталась…

Прервав разговор, Бертиль поспешно ушла в кухню — у нее это признак решительного несо-

гласия. Матушка встала и, проходя мимо меня, спросила:

— А ты что об этом думаешь?

Я сделал ошибку, ответив:

— Знаете, мы в семье живем очень дружно. И нам не хочется никого терять.

— А что я тебе говорила, бабуля? — сказала Саломея.

— Пройдемся со мной немного, милочка, — предложила мадам Резо, уже не обращая на меня внимания. — От вашего центрального отопления я просто задыхаюсь. Надо подышать свежим воздухом.

Саломея пошла с ней прогуляться по бульвару Баллю. Неужели мадам Резо полагала, что отъезд моей дочери как-то уравновесит для меня уход Жаннэ? Если так, то какая наивность! И до чего же плохо она меня знает! В молодости я ненавидел мамашу или, вернее, ненавидел ее ненависть ко мне. Ничуть не больше была мне по вкусу ее любовь к Саломее. Мне это казалось грабежом, а кроме того, я усматривал в этом нечто противоестественное. Матушкину игру я понимал таким образом: она добивалась того, чтобы в конце концов Саломея почувствовала себя здесь непрошеной гостьей, то есть чтобы я как бы прогнал ее,

а она, матушка, приютила. Надо было избежать этой ловушки.

Но матушка — об этом я узнал лишь позже — выложила другие козыри. Когда Саломея появилась после прогулки, немного опередив бабушку, которая, пыхтя, поднималась по лестнице, Бертиль, Бландина, Обэн и я, смотревшие в это время фильм, сразу же обратили внимание на то, что вид у нее какой-то странный. Она прошла через комнату, не глядя на нас.

— Ты что, плохо себя чувствуешь, детка? — спросила Бертиль.

— Нет, нет, — ответила Саломея и, на ходу захватив какой-то журнал, поднялась к себе и стала играть на скрипке.

За ужином Саломея, как мне показалось, держалась не более отчужденно и не более натянуто, чем всегда. Она только избегала встречаться взглядом с нами, в том числе и с бабушкой. Она очень рано собралась спать и слабым голосом объявила:

— Правда, я очень устала. Раз бабуля предлагает мне пристанище, я уеду в понедельник и вернусь в пятницу вечером.

Потом она обошла комнату и поцеловала всех нас. Даже Обэн, очень огорченный тем, что в

четверг ее не увидит, не поцеловал ее в ответ. Когда мадам Резо ответила ей долгим поцелуем, Бертиль опять ушла в кухню, и чуть погодя мы услышали, как о плитки пола с грохотом разбилась компотница.

XIV

Редко можно быть уверенным в счастье другого человека. Красота, здоровье, власть, богатство и любовь, даже когда они все в наличии, не могут служить залогом счастья, так же как чудесные краски на палитре художника вовсе не служат залогом того, что он создаст шедевр. Во всяком случае, пока это счастье не сотрется от постоянного соприкосновения с действительностью, его размеры, его ценность и даже само его существование ускользают от нас. Едва ли можно доверяться внешним признакам. С тех пор как мадам Резо покончила счеты с жизнью, я не раз спрашивал себя, случалось ли ей хоть когда-нибудь быть счастливой — она сама вряд ли задала бы себе подобный вопрос и даже не произнесла бы этого слова, — и отвечал: если она когда-либо изведала счастье, то лишь этой весной, с Саломеей.

Как она нам и предсказывала, мы остались одни с нашими родными детьми. В принципе Саломея собиралась проводить дома два дня и три ночи в неделю. Некоторое время она строго

следовала этому намерению. Она возвращалась поздно, оставляла свой «остин» во дворе и входила в столовую, держа папку под мышкой, с тем выражением на лице, которое мать ее называла «улыбкой торгового агента». Она была приветлива, но если прежде нежно обнимала каждого из нас, то теперь ограничивалась легким прикосновением губами и старалась как можно скорее чем-нибудь заняться: помочь Обэну написать сочинение или решить задачу по математике, сыграть в подвале партию в пинг-понг с Бландиной — это помогало ей восстановить душевное равновесие и даже развеселиться. Ее отношения с братом и сестрой внешне оставались прежними, переменилась она только к нам. Но если после истории с Гонзаго Саломея заперлась от нас на ключ, то теперь она повернула этот ключ на два оборота. Приученная помогать матери, она не уклонялась от этого, она даже охотно занималась хозяйством, но делала все почти молча.

— У меня такое впечатление, — заметила мне Бертиль, — будто я наняла за стол и квартиру англичанку, которая ни слова не знает по-французски.

О себе я уже и не говорю: Саломея старалась не показывать вида, что она меня избегает. Это ей

плохо удавалось. В итоге она стала все реже бывать у нас, чтобы не выслушивать вопросов вроде такого: «В конце концов, что ты против нас затаила?» Ответ ее, всегда один и тот же: «Да нет же, право, ничего!» — нисколько нас не успокаивал. Начиная с апреля она стала появляться только через раз, и в результате мы виделись с ней даже реже, чем с Жаннэ, который переходил разделявший нас мост каждую неделю, по вечерам, а кроме того, решил посвящать нам целиком один воскресный день в месяц (второе воскресенье он проводил у Биони, третье оставлял для спорта, а четвертое — для других развлечений). Правда, желая как-то возместить нам отсутствие Саломеи, мадам Резо сумела поставить у себя телефон (хотя сеть в этом районе крайне перегружена), и глубоко уязвленная Бертиль вынужденна была выслушать несколько монологов свекрови — мадам Резо оглушительно кричала в трубку, но сама практически уже не слышала того, что ей пытались сказать.

— Вы знаете, по субботам у нее особенно много работы. Иногда ей приходится встречаться с клиентами даже по воскресеньям. Макс позавчера сказал мне: «Тетушка, я хотел оказать вам услугу, но больше всего выиграл на этом я сам».

Иногда Саломея брала у нее трубку и добавляла несколько слов. Но если мадам Резо говорила только о своей внучке, то Саломея произносила какие-нибудь любезности, не упоминая о бабушке.

Наконец однажды утром в субботу, до предела возмущенная тем, что Саломея не показывалась две недели подряд и даже не сочла нужным предупредить накануне, что не явится и в этот раз, Бертиль сказала мне:

— Поедем.

Незачем было уточнять, куда именно. Я и сам уже подумывал о том, что неплохо было бы съездить туда. Другие не стали бы ждать так долго, и если мы до сих пор не нагрянули к нашим дамам, то лишь потому, что я сам, в прошлом жертва насильственного вмешательства в свою жизнь, не терплю слежки за другими, не выношу, когда лезут в чужие дела и ограничивают свободу другого человека, даже если дело касается моих близких. Но больше так продолжаться не могло. Мадам Резо ни разу не появлялась у нас со времени женитьбы Жаннэ — вероятно, во избежание каких-либо объяснений. Она и нас не пригласила посмотреть, как они устроились на авеню Шуази. Не могли же мы допустить, чтобы она разлучила

нас с Саломеей. Не доводя дело до скандала, надо было все-таки дать ей это понять. К тому же у меня был очень хороший предлог: ремонтные работы в «Хвалебном», о которых мадам Резо и не заикалась.

Дом, хотя и расположенный в многолюдном XIII, а не в привилегированном XVI округе — где, кстати, для поддержания престижа на улице Помп жил Макс, — был целиком построен из стекла и мрамора и выглядел весьма внушительно. В холле, где пахло еще свежим лаком, меня сразу заинтриговали две вещи: объявление, обращенное к «владельцам квартир», и где-то в середине ряда почтовых ящиков из палисандрового дерева напечатанная типографским способом карточка с именем той, что проживала на восьмом этаже в квартире 87. На карточке значилось: «Мадемуазель Саломея Форю» — и внизу красным фломастером приписано: «И мадам Резо, вдова». В щели торчал номер «Уэст-Франс»[22].

— Раз почта не вынута, скорее всего, их нет дома, — сказала Бертиль.

Их и в самом деле не оказалось дома. Все, что мы

---

[22] Примечания: 22

*«Уест-Франс» («Ouest France») — одна из самых читаемых региональная ежедневная газета, известная своим акцентом как на местных, так и на национальных новостях.

увидели на восьмом этаже, была дверь красного дерева, с глазком и тремя секретными замками, свидетельствовавшими о неискоренимой кранской подозрительности. Спустившись, мы обратились к совсем молоденькой консьержке, причесанной и разодетой, как кинозвезда, и та ответила нам одной, но весьма знаменательной фразой, из которой мы выяснили по меньшей мере два факта:

— Мадемуазель уехала в деревню со своей бабушкой.

Нетрудно вообразить, что произошло. Чтобы оторвать девушку от семьи, с которой она жила в полном согласии, достаточно проявить терпение. Сначала — задушевный разговор: «Твои родители правильно делали, что привлекали вас, детей, к решению семейных вопросов. Теперь тебе легче будет расправить свои собственные крылышки». Потом — намеки: «Ну вот, теперь ты ни от кого не зависишь. Мне кажется, они не очень-то охотно на это пошли. Со мною было совершенно то же самое, и твой отец много раз упрекал меня за это: всем нам трудно избавиться от чувства родительской собственности». Будем продолжать, будем комментировать, будем осуждать несговорчивых обитателей дома в Гурнэ с приличествующей

случаю строгостью: «Именно этого я и боялась: одной рукой тебя освобождают, другой — вновь привязывают». Во всем этом Саломея нам потом признается, да и в остальном тоже. Однако, хотя такая настойчивая обработка давала свои плоды, одной ее было бы недостаточно. Вместе с независимостью, которую обеспечивал конверт с деньгами, получаемый в конце каждого месяца, самым существенным была квартира: важнее всего чувствовать себя дома полной хозяйкой. И в этом мы сможем скоро убедиться. Мы вернулись на авеню Шуази в половине восьмого, и только мы вышли из лифта, как я, не успев еще позвонить, услышал через дверь голос мадам Резо:

— Ручаюсь тебе, это они.

Должно быть, консьержка описала нас достаточно точно. Кто-то уже заслонил свет в глазке, меж тем как я нажимал на кнопку, извещая о своем прибытии серией коротких звоночков; многие годы, услышав их, дети сбегали вниз по лестнице с криком: «Папа пришел! Папа пришел!»

— Ну ладно, ладно, успокойся! — раздается голос матушки, сопровождаемый лязгом отодвигаемых засовов.

Мы попадаем в прихожую, которая, в сущности, составляет часть квартиры, и сразу же

— неожиданность. Художник-декоратор, конечно, не посоветовался с мадам Резо, привыкшей к доставшейся по наследству случайной мебели провинциальных жилищ, где полы прогибаются под грузом лет и старого дуба. В этой композиции, одновременно сдержанной и легкой, были учтены и объем, и цветное пятно каждого предмета: кресла, либо пламенеюще-красные, либо холодно-оливковые, выделялись на фоне ковра из козьей шерсти, брошенного на черный, как антрацит, бобрик, которым обит пол. Достаточно было увидеть здесь Саломею, чтобы понять, до чего она гармонирует с этим убранством. И напротив, мадам Резо кажется здесь столь же неуместной, как монахиня в «Фоли-Бержер»[23]. Но когда мы усядемся, после ритуального сухого чмоканья в щеку, не будет сделано ни малейшего намека на владельца квартиры, на декоратора, на то, сколько все это стоило; нас даже не спросят, нравится ли вам здесь.

— Напрасно вы беспокоились, — сказала Саломея. — Мы были в «Хвалебном».

— Обычно я провожу там уик-энд, когда Саломея в Гурнэ, — сказала мадам Резо. — На этот раз

---

[23] Примечания: 23

*«Фоли-Бержер» («Folies Bergère») — знаменитое варьете и кабаре в Париже.

я взяла ее с собой, чтобы она сама поговорила с малярами насчет своей комнаты. — И, повернувшись к настоящей хозяйке дома, она спросила: — Мы оставляем их ужинать?

— Это будет чудесно, — сказала Саломея. — Но в таком случае мне придется сходить за покупками.

— Нет, — возразила Бертиль, — нам непременно надо быть дома: часов в девять собирался зайти Батист.

— Кстати, я составила смету на первоочередные работы, — продолжала мадам Резо. — Ты вышлешь мне половину этой суммы, и я все устрою.

— Я как раз хотел попросить у вас счета.

Я сам себе противен, но все-таки вступаю в эту игру. Есть люди, возле которых легче жить в качестве их врага: камень о камень — тогда по крайней мере высекаются искры. Жалеть мамашу — все равно что пытаться проникнуть в каменную глыбу. Она решила не понимать истинной цели нашего визита. Что мы у нее оспариваем? По какому праву? Бертиль и я, мы запутались и попали в такое положение, когда естественность уживается с невероятным. О естественности в поведении Саломеи и речи быть не

может: она пересиливает себя, веки у нее будто налиты свинцом, она места себе не находит. Но зато естественность поведения матушки граничит с блаженной непосредственностью. Прежде она сидела обычно на самом краешке кресла, а сейчас просто утопала в его мягкой обивке. Она располнела. Теперь это была жирная довольная кошка, которая прячет когти и показывает бархатные лапки; эмфизема легких придавала ее голосу сходство с мурлыканьем.

— Одно время я боялась, что мне придется отказаться от нашего отпуска: ведь Саломея работает еще слишком мало и пока не имеет права на отпуск.

Она уже не таится. Отныне само собой разумеется, что все зависит от Саломеи и что обсуждать здесь нечего.

— К счастью, в июле Макс закрывает свои конторы.

Бертиль встает. Горькие слова, которые ей хотелось произнести, застревают у нее в горле. Теперь у нее одно желание: поскорее уйти. Но мадам Резо настаивает, чтобы мы осмотрели квартиру. В спальне Саломеи — норвежская береза, как будто прямо с витрины на улице Сент-Антуан; из любимых вещиц, создававших уютный беспорядок ее

комнаты в Гурнэ, здесь нет ничего, кроме черной плюшевой пантеры, которую Гонзаго выиграл однажды в лотерее на ярмарке. В спальне мадам Резо — тиковое дерево; ей приходится спать на низком диване, над которым висит огромная фотография ее любимицы. Она бросает одинаково пылкий взгляд сначала на портрет, потом на оригинал.

— Не беспокойтесь, здесь ее не обижают, — говорит она.

XV

Май, июнь. Ложным положениям я предпочитаю открытые конфликты, если последние могут избавить нас от первых. Приходилось желать, чтобы подобный конфликт вспыхнул в нашей семье, такой дружной всего каких-нибудь полгода назад. Хотя Жаннэ и избрал чересчур непримиримую позицию, он оказался прав: нам не следовало возобновлять отношения с мадам Резо. Ненависть или обожание ничего не меняли в ее методах. Она снова начинала изматывать окружающих, быть может даже не желая этого, быть может этого и не сознавая; было в ней нечто роковое, подобное волне, слепо и неотвратимо бьющей о берег. В иные минуты я склонен был верить в новые ее подлости, в обдуманное намерение вредить, разлагать нашу сплоченную семью, в которой я всегда видел свой реванш, — теперь матушка стремилась в свою очередь взять реванш, внося разлад в мой дом. Как бы то ни было, намеренно она это делала или нет, результат был тот же, и все новые и новые эпизоды усугубляли приносимый ею вред.

Теперь Бертиль иногда нападает на меня. Если женщины острее нас реагируют на семейные неурядицы, их можно простить, большинство из них лишено преимущества мужчин, которые спасаются, углубляясь в свои профессиональные занятия. Но Бертиль дошла до того, что однажды сказала мне:

— Ты должен был сразу же положить этому конец. Ведь я-то не могу вмешиваться. В конце концов, это твоя мать.

Я возразил ей, хотя и сожалею об этом:

— Как бы я тогда выглядел? Играть роль отчима, протестующего против того, что она одаривает Саломею? Ну уж, спасибо! В конце концов, это твоя дочь.

Бландине исполнилось шестнадцать лет. Она собирается держать экзамен на бакалавра. Француз, у которого ничего нет, кроме свидетельства о рождении, считает, что этот аттестат удостоверяет его знания и открывает доступ к существованию высшего порядка. Бландина вдруг стала принимать себя всерьез, вышла из того очаровательного возраста, когда подростки не сознают собственной прелести, и вступила в пору, когда девушка стремится обрести индивидуальность. Она издали обращает на себя

внимание огненной гривой, ниспадающей на белую блузку, которая облегает округлую грудь, при этом талия ее так туго стянута корсарским поясом, что из-под него просто выпирает содержимое застегнутых на бедрах бледно-зеленых брючек с отворотами. Ее волосы так пламенеют, что, несмотря на укромную тень на паперти церкви Сент-Арну, я замечаю, что они смешались с чьей-то каштановой копной.

— Сестрица-то моя чуть не утонула — ей делают искусственное дыхание, — говорит Обэн, который ходит за мной по пятам.

— Подожди, я бегу ей на помощь!

Я бросаюсь вперед, вежливо отстраняю парня со следами помады на лице, увожу с собой судорожно вздыхающую Бландину, внушаю ей, что готовиться к экзаменам сейчас гораздо важнее, чем позволять себя тискать; сначала надо, чтобы ее знания прощупали преподаватели, а уж потом пусть ее щупают парни… Но она, несмотря на свой возраст, начинает спорить, отвергает мою теорию ценностей, приводит в пример Саломею… Что делать? Я вне себя от возмущения и досады. И вдруг — хлоп! Вот, милочка, ты и схлопотала пощечину.

Мы все начинаем нервничать. У нас в столовой

появляется Батист, он дергает себя за бороду, а это дурной признак. Вчера, проходя по площади Дофин, он вдруг увидел, что из Дворца Правосудия выходит — кто бы вы думали? Его племянница! До ворот ее провожал какой-то судейский в мантии, с орденской розеткой. Я пытаюсь шутить:

— Может, она собирается за него замуж?

— Или за Гонзаго, — говорит Батист. — Хочешь знать мое мнение? Саломея всех нас водит за нос, в том числе и твою мать.

Бертиль не верит: ее дочь не могла вдруг стать такой скрытной. Жаннэ (он пришел к нам вместе с Мари, которая уже совсем округлилась) прыскает со смеху:

— Да бросьте вы! Это совершенно нормально: девушка, если она влюблена, ни с чем не считается и способна на что угодно.

— Неправда! — кричит Обэн.

— Когда мы говорим о ней, тебе все видится в черном цвете, — сказала Бертиль.

Жаннэ, обидевшись, уходит.

Немного погодя — звонок по телефону, это Поль, она всегда звонит мне раз в месяц. Спрашиваю у нее совета. По своему обыкновению на вопрос она отвечает вопросом:

— А вы знаете, где сейчас этот парень и что

с ним?

Потом она восхищается — да, восхищается — тем, что женщина в семьдесят пять лет, известная своей черствостью, еще способна «на такую пламенную любовь» — так она и сказала. Она спокойно добавляет, что ей нравится моя ревность.

Рассердившись, я вешаю трубку.

Это мнение диаметрально противоположно мнению мадам Дару, которой вовсе не по вкусу, что ее родная внучка пользуется щедротами своей названой бабушки.

— Все равно как если бы я отдала все Жаннэ, — повторяет она. — Каждый должен опекать свое прямое потомство.

Так или иначе, по этому поводу много разговоров, и на нашу семью льется изрядное количество помоев.

Что-то, безусловно, происходит — но что? Саломея звонит все реже, целых три недели не показывалась, а когда наконец явилась, то приняла в штыки вопросы матери.

— Ты устраиваешь за мной слежку? — Недовольно помолчав, она все же добавила: — Защитник потребовал у судьи, чтобы меня допросили. Не могла же я отказаться…

Так мы и не узнаем — ни где, ни как, ни кто

ей сообщил о вызове в суд. Но когда Бертиль пытается обнять ее, говорит, что мы не понимаем, почему она не приезжает, что мы без нее скучаем, Саломея разражается рыданиями.

— Как вы несносны — и одни и другие! — набрасывается она на мать. — Меня любят, как же! Любят со всех сторон. Но каждый любит для себя. Обэн — тот дуется на то, что меня нет дома: некому подоткнуть ему одеяло, как в те времена, когда ему было пять лет. Все хотят, чтобы я была с ними, и никто не думает о том, с кем хочу быть я. Довольно уж мне трепали нервы… — И вдруг бросает в мою сторону: — И твоя матушка туда же!

Это можно было предвидеть, и все же никто из нас не ожидал появления мадам Резо, которая, не доверяя телефону, решила, что вернее будет нагрянуть к нам без предупреждения, на неделе, среди бела дня, то есть когда ее любимица работает. Боясь, что не успеет вовремя вернуться, она даже взяла такси; шофер, уезжая, пожал плечами — наверное, она дала ему слишком скудные чаевые. И вот она здесь, в моем кабинете, с виду совсем добренькая, сидит со мной и Бертиль. Она явилась под тем предлогом, что-де нужно передать нам счета, затраты явно преувеличены. Так как я не умею торговаться, я не стал возражать.

Но чтобы не выглядеть дураком, я не стану говорить, что напрасно пошел на такие расходы ради сомнительного удовольствия оставить следы своих подошв на участке кранской глины, которую месил еще мой прадед.

— У Фреда желтуха, — сказала наконец мамаша. Она прищелкивает языком, довольная, что может сообщить нам такую новость. И, помолчав, продолжает: — Марсель выдает замуж старшую дочь, Розу. И очень удачно. Жених — инженер-нефтяник. Семья, имя, взгляды, общественное положение — все превосходно.

Это, видимо, нам в назидание. Дабы мы могли сравнить, сопоставить. Однако семейная хроника еще не закончена:

— Что до Рюэйля — так и есть: Марсель его продает. Но он не дурак. Он вступает в компанию с предпринимателем. Вы догадываетесь с кем?

Бертиль неопределенно поводит плечами.

— С ФБНЗ, черт побери! У въезда в парк огромные объявления: «Скоро здесь будет воздвигнута „Резиденция Жозефина“…» Да, там, где жил один только мой дедушка-полковник, по прозвищу Индюк, появится сто квартир. Как говорит Макс, колесо фортуны повернулось: сегодня Индюк и ему подобные уже изжарены и их можно резать

на части. Саломея занимается всем этим вместе с ним.

Пауза, необходимая для того, чтобы перейти от второстепенного к главному:

— Теперь не только вы ее не видите — все уикэнды я тоже провожу одна.

Мы с Бертиль заморгали глазами — и напрасно. Лицо мадам Резо подергивается, покрывается густой сеткой морщин, которые становятся вдруг еще глубже. Она хотела убедиться в истинности того, о чем сама же нам сообщила. Тот, кто не желает ни с кем делиться своим добром, не откажется от помощи другого, если понадобится это добро защищать. Но боже упаси выразиться яснее!

Мадам Резо лишь добавляет:

— Бедняжка! Она меня немного беспокоит. Вот уж кому необходим отдых на свежем воздухе, подальше от Парижа!

XVI

Вечернее солнце, притушенное ивняком, разбрасывало среди круглых листьев водяных лилий с вкрапленными кое-где маслянистыми цветами кружки зеленоватого света, таявшие в воде, на которой тоже возникали и расплывались круги всякий раз, как на поверхность поднимался жук-плавунец, или снизу листа касался присос плотвички, или сверху морщил своим быстрым прикосновением один из тех ложных бегающих пауков, которых папа по-ученому называл gerris. Мы сидели на берегу в пяти метрах друг от друга: фермер, мой младший сын и я. Начал я с фермера: в мое отсутствие он, вероятно, не лишал себя предоставленного мне Марселем права рыбной ловли — и правильно делал. Я нашел старые отцовские холщовые штаны. В одних шортах, пока еще белый, как раковина умывальника, Обэн, находившийся в периоде бурного роста, поджаривал на солнце свои тощие детские руки и ноги. Против своего обыкновения он не произносил ни слова. Что касается Жобо, коренастого, с мускулистыми руками и могучей грудью, лы-

сеющего всюду, где положено расти волосам, то он расстелил на траве свои вельветовые штаны с разноцветными заплатами и сидел неподвижнее, чем обрубленный ствол ольхи, от которого параллельно его ногам к речке Омэ спускались два красноватых корня. Негнувшиеся стебли камышей, устремивших свои стрелы в серое облако, словно приклеенное к небу, уже много часов стоявшее над своим увязшим в реке двойником, и неподвижные поплавки — поплавок на нейлоновой леске, уходившей в прозрачную глубину, и поплавки удочек, лежавших на небольших рогатках из обструганного ясеня, — подчеркивали безмолвие, едва нарушаемое коротким кваканьем лягушки или далеким улюлюканьем удода. Блаженный покой тихих вод! Котел, в котором лето варит экстракт из различных запахов мяты, шалфея, полыни, болотного газа, поднимающегося из глубины пузырьками, тины, рождающей головастиков, — а над всем этим господствует вызванный органическим обменом запах гнили, сопровождающий всякую давно мокнущую зелень, и слизи — смазочного масла рыбы.

— Хоп! — воскликнул Обэн, ловко вытащив из воды плотвичку, которая падает в траву на то самое место, где пять минут назад он поймал

кузнечика для наживки.

Он осторожно подполз к рыбке, чтобы отцепить крючок. И, ликуя, поднял кверху большой палец — безмолвный клич победы. Это была уже пятая рыба, которую он бросил в корзину, присоединив ее к восьми голавлям, трем линям, одному лещу и нескольким усачам. Потом он снова бесшумно забросил удочку.

— Хорошо клюет, — прошептал Жобо.

Мелкая рыбешка уже начинала прыгать под носом у окуней и щук. Лучи солнца стали совсем косыми, и лягушки заквакали громче. Подняв голову на пять сантиметров над слоем болотных орехов, извиваясь, медленно прополз уж. Зимородок с малявкой поперек клюва трижды пролетел взад и вперед: вниз по течению над тем местом, где он, должно быть, заметил стайку рыб, до какого-то места вверх по течению, где, вероятно, находилось его гнездо. Леску Обэна два раза обрывала крупная рыба… Мало-помалу тени повернулись, удлинились, а из глубин воскресного дня донеслось мычание коров, которые, подойдя к изгородям, ожидали своих телят. Между оголенными стволами платанов мелькнули два платья, замахали две обнаженные руки, и как раз в этот момент, дабы напомнить нам, какой мы

крови, первая сова испустила свой старинный шуанский крик.

— Пора, однако, подумать об ужине, — сказал Жобо.

Когда мы возвращались домой, опередив колокол (с недавних пор подчиненный нашему распорядку дня), Обэн, победно размахивая корзиной, вдруг сказал:

— Папа, мышь боится кошки. А интересно: летучая мышь боится совы, у которой голова как у кошки?

В общем, приятные минуты, связанные с чем-то засевшим во мне так же крепко, как корень вьюнка в почве. Таких минут в течение этих каникул будет немного. Без особого восторга прибыв в «Хвалебное» через три дня после мадам Резо и Саломеи, которые приехали отдельно на «остине», мы сообщили им, что наши молодые здесь не появятся. Чтобы никому не было обидно, Жаннэ договорился со своей фирмой, и ему предоставили оплаченный отпуск в третью очередь, так что он будет свободен как раз к тому времени, когда Мари придет пора рожать.

— Я никого не принуждаю навещать меня, — кисло заметила матушка.

Несмотря на ремонтные работы, частью, прав-

да, еще не оконченные, удобства здесь весьма относительные: два водопроводных крана, электричество; три отремонтированные, но уже полные комаров комнаты, в которых, несмотря на опрыскивание дезинсекталем, летом появились и блохи. По физиономии Бертиль я мог судить о том, до какой степени обитатели пригородов, живущие в своих благоустроенных домах с подстриженными садиками, не подозревают, что такое настоящая деревня. И вот теперь она познакомилась со свитой феи Хлорофилл, с этим «прелестным кортежем из листьев, цветов и плодов», в котором участвуют также крапива, черный терновник, чертополох, жалящие, кусающие и сосущие букашки, свиные клещи, слепни, осы, трутни, сороконожки, муравьи, уховертки, сильно вредящие поэтичности бабочек, водяные стрекозы и прочая божья тварь. Я уже не говорю о пресмыкающихся, называемых здесь гадами, о двухметровом желтопузике, об опасной медянице или даже о толстом дождевом черве, что водится в огородах. И не говорю о ночных писках, о крысиных сарабандах на чердаке! Вся эта нечисть, к которой я и мои братья в детстве были совершенно равнодушны, не давала покоя моим дочерям. Привыкшие к окружению приятелей, к

благам, которые предоставляют море или горы, они чувствовали себя неуютно. Старый крокет, комплект заржавленных шаров, дырявые ракетки для бадминтона, ящик с отверстиями, куда можно бросать металлические кружки, часть которых уже потеряна, — разве это развлечения! Омэ для купанья не годится — в ней слишком много тины. Кататься на лодке? Но грести двумя веслами невозможно — слишком мало места в речке, а управлять одним веслом не каждый умеет. Когда мадам Резо, неизменно старавшаяся сплавить мне Обэна, чтобы он не цеплялся за левую руку Саломеи, как она цеплялась за правую… когда мадам Резо раз пять-шесть сводила их на прогулку по полям и по дорогам, утонувшим среди откосов, когда они в своих маленьких сапожках вдоволь нашагались между колеями, капустными кочерыжками и длинными рядами звездообразных навозных лепешек, оставляемых быками на утоптанной дороге; когда они убедились в том, что им здесь смотреть не на что, кроме как на гнущиеся под ветром яблони, на поля клевера между поросшими терновником земляными оградами, за которыми простирались столь же уродливо огороженные картофельные поля, — тогда они решили: что ж, видно, такая

уж она есть, эта «сельская местность» (окружной центр — Сегре, от латинского слова secretum, что значит «изолированный», «уединенный»), тут нет живописных пейзажей — словом, самая настоящая, самая обычная деревня. Кроме Обэна, обожавшего лазить по деревьям, ездить без седла на лошади Жобо, шарить по сеновалам, и меня — я-то могу работать где угодно, лишь бы был у меня кусочек стола, — все остальные уже в конце первой недели изрядно заскучали, с тоской вспоминая виллу Оссегор или домик Араш-ле-Каро, которые мы снимали в прошлом и в позапрошлом году. Я беспрестанно слышал традиционный вопрос нового поколения, привыкшего к овощным консервам и комфортабельному отдыху:

— Чем бы нам заняться?

Они создали себе свои иллюзии. Я — свои. То или иное место нравится нам больше других только потому, что мы провели в нем детство, и мы никогда не должны его покидать, если хотим, чтобы к нему привязались и наши дети. Мои дети выросли в парижском предместье, и Соледо было для них захолустьем, где обитало две сотни провинциалов. Саломея принялась подолгу пиликать на скрипке, Бландина — фотографировать все подряд. Сестры, которые прежде редко прово-

дили время вместе, стали совершать экскурсии в замки, на пляжи Луары, в мастерские гобеленов в Анже и старались уехать потихоньку, чтобы ускользнуть от бабушки, которая в последний момент всегда оказывалась в машине:

— Вы что же, не берете меня с собой?

Для нее это тоже обернулось крахом. Наше присутствие позволяло ей удовлетворять свое чревоугодие, которому Бертиль потакала, используя местные возможности. Что же касается Саломеи, то мадам Резо ее, видимо, раздражала, и матушка, делавшая невероятные усилия, чтоб идти с ней в ногу и не отстать от поколения, которое было больше чем на пятьдесят лет моложе ее, казалось, была на грани глубокой депрессии. Такой я ее еще не видел. Когда она ждала нас в столовой, пол которой был выложен белыми и черными плитами, она напоминала шахматную королеву, низведенную до роли пешки. Она стояла обычно в торжественной позе, притворяясь, что царствует. Но, если мы опаздывали, стоило ей сделать нам замечание, как Саломея тут же пускала в нее стрелу:

— Да ну, бабуля, не разыгрывай из себя будильник!

Ей не удавалось прицепиться даже к Обэну:

его сразу же брали под защиту. Она могла лишь уничтожать его взглядом, но мальчишка только смеялся в ответ, а она опускала веки, потом снова поднимала их и пожирала горящими глазами мадемуазель Форю, которую Жобо называли просто «мадемуазель», так же как матушку они называли просто «мадам». Мадемуазель Форю, порой небрежную, порой раздражительную, порой (и это чаще всего) витавшую в облаках, но все еще настолько могущественную, что, когда ее допустили осмотреть содержимое большого шкафа и она решительно сказала: «Послушай, бабуля, ведь это же смешно: да положи ты свое состояние в банк», мадам Резо, отказавшись от удовольствия время от времени перебирать свои ценные бумаги и отрезать купоны, тут же поехала и арендовала сейф в Парижском национальном банке.

В сущности, она чувствовала себя непринужденно только со мной. Не успел я приехать и войти в дом, как она отвела меня в сторону и спросила:

— Ты можешь дать мне немножко в счет ренты? Сейчас у меня туговато с деньгами.

Если это и так, то тут нет ничего удивительного; и те деньги, которые я мог ей предложить,

вся равно не заткнули бы дыру. Но скоро я заметил, что ларец эпохи Возрождения исчез. Я пошел к Марте, которую застал за кормлением двух превосходных представителей кранской породы: я говорю не о детях, а о поросятах, так называемых «бегунах», рожденных от одного из тех благородных племенных боровов, которые в гораздо большей степени, чем Вольнэ — автор размышлений о падении империй, — наряду с бегами создали репутацию Кранскому краю.

— Вам известно, кто купил ларец? — спросил я вполголоса.

— Антиквар из Пуансе, — ответила Марта, нагнувшись над корытом.

Она поднялась с деревянным ведром в руке и строго посмотрела на меня.

— Будьте начеку, он целый час обмерял резные панели в гостиной. Он еще вернется. Я не люблю много болтать, но мадам уже выжила из ума. Сначала она продавала, потому что ей не хватало денег. Потом ей просто пришла охота торговаться. А теперь из-за мадемуазель… Раз уж вы пришли, спасибо за воду. — И, рассмеявшись, захлопнула дверь хлева. — На тот случай, если она не захочет поделиться, я сама лучше скажу вам: мадам требует с меня шесть уток в год за то,

что я пользуюсь ее колонкой.

Эта мелочь придала мне решимости. Уши у меня горели, когда я направился к мадам Резо, чтобы потребовать от нее объяснений и заявить, что нельзя получать проценты и одновременно подкапываться под капитал. Матушка как раз занималась тем, что она называла своей бухгалтерией: любопытная операция, состоявшая в том, что она сравнивала содержимое шести аккуратно пронумерованных конвертов с надписью «Кредит» с содержимым шести конвертов с надписью «Дебет» — и те и другие были сложены в коробку от обуви, разделенную на две части куском картона. Драма «Хвалебного» — и я знал это — заключалась в том, что, как она решила раз и навсегда, пятый конверт «Кредит» (рубка леса, продажа различных ценностей) был предназначен уравновешивать пятый конверт «Дебет» (расходы по дому), а третий конверт «Кредит» (рента) снабжал деньгами третий конверт «Дебет» (помещение капитала). Парк уже не устоял при этой системе, на очереди была мебель, потом резные панели… Однако мадам Резо, прикинувшись на миг несказанно удивленной, тут же разразилась возмущенными возгласами:

— Ты становишься таким же скупердяем, как

и твой брат. Да, это правда, я должна была выручить определенную сумму. Но тебе ли на это жаловаться? Все было истрачено на твою дочь.

— Было ли это разумно? — спросил я, не поддаваясь ее вызову.

— Меня бог знает как упрекали в том, что я недостаточно для вас делаю, а теперь я, оказывается, делаю слишком много! — возразила она сердито.

Однако грубая откровенность пересилила притворство:

— И потом, учти: по закону Саломея нам чужая. Если мне хочется немного ее побаловать, то я должна это сделать, пока жива.

Она хотела как-то оправдать свою прихоть, уж это-то по крайней мере было ясно и в известном смысле даже молодило ее. Я удалился, жестом изобразив, будто снимаю перед ней шляпу, как это было принято во времена Короля-Солнца. Когда я рассказал обо всем этом Бертиль, она посоветовала мне предупредить антиквара. Я отказался: в департаменте их было не меньше сотни, и все они держали в поле зрения старых дам, способных распродать фамильную обстановку. Не мог же я разослать им циркуляр! К тому же, должен признаться, я из тех, кто много шумит,

когда его ущемляют в правах, но потом испытывает глупое, гордое отвращение к тому, чтобы до конца отстаивать свои интересы. Больше я не заводил об этом речи. Но по уколам, по намекам мадам Резо, по тому, как она меня не слушала, когда я говорил, и наблюдала за мной, когда я молчал, я очень быстро, в тот же вечер, понял, что она приняла мои слова всерьез и снова меня возненавидела.

XVII

Квартира, которую вы сами для себя выбрали, ознакомившись с планом, или дом, который вы построили, ни с кем не связаны в ваших воспоминаниях — там вы можете себе представить только себя; обиталище ваше, так сказать, еще не было в употреблении. Неужели я замутил источник своей юности? Быть может, это результат того, что возрождаются наши мелкие раздоры? Умытые разве что святой водой, в длинных ночных рубашках, в сбившихся на одно ухо ночных колпаках с помпонами, представители семи поколений нашей семьи копошились в этой кровати, стыдливо скрипя ее пружинами. Всякий раз, поворачиваясь в ней, я толкаю их локтем, а Бертиль со своей пышной шевелюрой, в костюме Евы занимающаяся утренней гимнастикой, шокирует мою покойную тетю Терезу, которая, на этом же самом месте, приподняв грудь китовым усом корсета, затягивалась в него с помощью покойной тети Ивонны, своего близнеца, причем нижняя часть туловища у обеих моих теток утопала в широких панталонах с разрезом и

кружевными воланами. Зачем я приехал сюда? Воскрешать прошлое? Оно меня утомляет.

Но вот, увлекшись своими гимнастическими упражнениями, которые она проделывает у низкого окошка, Бертиль наклоняется вперед, раскинув руки и отбросив назад ногу. Внезапно она теряет равновесие, пяткой попадает в оконное стекло; столетняя замазка не выдерживает, стекло вылетает и разбивается о глиняный желоб для стока воды.

— Стекольщика! — кричит как ни в чем не бывало моя берришонка.

Легко сказать. Вот ведь мы какие: непоследовательные, сами себе противоречим. Разбилось-то стекло-лупа! Такая неудача! В этом окне с переплетом, изъеденным дождями двух столетий, не найдешь и двух стекол одинакового цвета. Тут есть всякие — от старого, искажающего предметы, зеленоватого, волнистого стекла с пузырьками до современного прозрачного стекла, гладкого и ровного, толщиной в три миллиметра. Сквозь только что разбившееся стекло (у него был небольшой дефект — легкое утолщение посредине) все семь поколений судей и адвокатов (которые, как и я, поздно вставали в отпускное время), вскочив с кровати, смотрели на сливовое

дерево, росшее против окна, и находили, что сливы на нем гораздо крупнее, чем это было на самом деле.

Но к Бертиль, натягивающей трусики, я обращаюсь совсем с другим:

— Ты слышала? Сегодня утром, еще не было восьми, Саломея опять отправилась за провизией.

Втянем живот. Зеркало в стиле Людовика XV видело не одно толстое судейское брюхо с торчащим пупом, и нотариус с бакенбардами, благоденствующий в своей раме, не стал бы возражать, если бы я выставил свое. Но жена моя заслуживает того, чтобы я держался в форме. Кстати, надо высказать ей до конца свою мысль:

— Даю голову на отсечение: она не хотела, чтобы ее сопровождали.

Бертиль морщится: главный ее недостаток в том, что она пасует, едва речь заходит о ее выводке. Она уклоняется в сторону.

— Ты знаешь последнюю сенсацию? Будто Максу понравилась Саломея и он сам сказал об этом твоей матери. Как она выразилась, «в известном смысле это превосходная партия. Какое состояние, какое положение, моя дорогая! Правда, Макс уже не молод, но и Саломея, бедняжка, уже не…

словом, вы меня понимаете! Короче, я отвадила Макса, сославшись на ее возраст, но главное, мне не хотелось разлучаться с ней…» Твоя мать — это бездна эгоизма. Даже если бы дело шло о подходящем во всех отношениях молодом человеке, она сказала бы то же самое.

В такой час Бертиль частенько произносит свои монологи. Если у нее нет ко мне ничего срочного, она никогда не делится со мной новостями вечером, раздеваясь перед сном, в чем я всегда усердно ей помогаю. Нет, она обычно начинает болтать, когда одевается или за утренним туалетом, сунув нос в мокрую махровую перчатку. Сейчас, причесываясь, она признается:

— Кстати, вчера я очень рассердилась. Стоит тебе отвернуться, твоя мать подкапывается под тебя при детях. Если бы она решила совсем уронить тебя в их глазах, то лучшего не могла бы и придумать.

— Чушь какая-то, — бормочет супруг, поглощенный бритьем.

— И это все, что ты можешь сказать? — недоумевает Бертиль.

Я не в том положении, чтобы жаловаться. А кроме того, лучше признать свою ошибку без шума. Минутку, вот только добрею под нижней губой.

— Если бы Саломея осмелилась повторить то, что наговорила ей моя матушка, ты бы узнала нечто похуже, — говорю я. — Не давай ты ей спуску. А если она не угомонится, то самое простое…

Тут меня прерывают крики: они доносятся снизу, кажется из кухни, и точь-в-точь похожи на те, которые испускала Психимора сорок лет назад, когда объявляла нам войну.

— Ах ты, противный мальчишка! Уберешь ты эту гадость или нет?

Сейчас выясним, в чем дело: оказывается, Обэн, который нашел в сарае старые сети и каждое утро спозаранку вытаскивает их, принес в дом двух угрей, думая, что они уже уснули, а мадам Резо их обнаружила, живых и извивающихся, в старом металлическом шкафу для провизии, где она и сейчас держит мясо, пряча его от зеленых мух. Предлог ерундовый, но для нее у Обэна тот недостаток, что он принадлежит к ненавистному племени в коротких штанишках. Его протесты ни к чему не приводят. Напротив, мадам Резо вопит все громче:

— Да замолчишь ли ты, негодник этакий! Не знаю, что меня только удерживает…

Бертиль второпях застегивает халатик.

— Твоя мать его невзлюбила, — возмущается

она. — Его нельзя оставлять с ней одного. Пойду туда… Так как ты сказал? Самое простое будет что?

— Больше сюда не приезжать…

Подразумевается: до тех пор, пока… Если по истечении срока, обозначенного этим сложным временным союзом, от «Хвалебного» мало что останется, не беда: главное — вновь обрести покой. Я не желаю мадам Резо никакого иного зла: пусть живет себе долго-долго в полном одиночестве, как жила до сих пор, — этого она и заслуживает. Впрочем, лучше бы мне помолчать: случается, какая-нибудь произнесенная фраза заставляет вас потом горько раскаиваться, словно она способна была омрачить будущее.

Но выйдем на воздух: писанину на сегодня оставим. Погода чудесная, жарко, луга, напоенные росой, до полудня будут таять в розовом мареве; невидимые кукушки отвечают золотистым дроздам, чье присутствие также невидимо; ласточки, как мушки, порхают высоко в синеве неба. Чтобы показать виновнице, что я на нее дуюсь, я быстро выпиваю чашку кофе и ухожу, потащив с собой Обэна, глаза которого еще сверкают гневом. Бландина последовала за нами. Бертиль тоже. В качестве предупреждения мы не вернемся в

«Хвалебное» до полудня: мы шагаем по тропинке вдоль дороги 161-В, и Бландина методично срывает все попадающиеся по пути цветы.

— Четыре тысячи восемьсот семьдесят пять зет-игрек семьдесят семь, это Смэ, — кричит Обэн, который на таблице окулиста и правым и левым глазом свободно читает все десять строк.

«Остин» выезжает из Соледо и проносится мимо кладбища на расстоянии нескольких метров от нашего семейного склепа. У меня мелькает странная мысль: «Нет, папа, нет, это не твоя внучка». «Остин» приближается, вот он уже останавливается возле нас. Саломея выходит, подскакивает к матери, целует ее, потом брата, потом сестру. Она улыбается, приплясывая на месте; она совсем такая, какой была несколько месяцев назад, хотя причину ее радости распознать не легче, чем увидеть сквозь платье ее белье. Впрочем, наше недоумение довольно быстро начинает стеснять ее, и, когда она снова садится в машину и уезжает, она уже жалеет что недостаточно владела собой.

— По крайней мере ей-то каникулы идут на пользу! — говорит Бертиль.

Вероятно, я один заметил на заднем сиденье, между ее сумочкой и сеткой, раздавшейся от покупок, голубое пятно телеграммы.

По правде сказать, я убедился в этом только вечером, в конце дня, проведенного в ожидании и во взаимном наблюдении. Мамаша не снизошла до того, чтобы заметить наше отсутствие, но после обеда, во время которого все блюда показались мне холодными, она проявляла известную осторожность. Она не могла не заметить странного состояния своей любимицы: Саломея была менее экспансивной, более сдержанной, чем утром, но она всюду поспевала, расточала себя, словно предводительница отряда бойскаутов: она и готовила, и мыла посуду, она будто стремилась соединить в своем лице все достоинства, дабы ей что-то простили, а что — неизвестно.

— Хочешь, бабуля, я поставлю тебе шезлонг на солнце?

Бабуля благодарит, прячет голову под старый зонтик и, подняв подол платья, подставляет под ультрафиолетовые лучи свои ноги с узловатыми венами. Но она все время вертится, и мне достаточно бросить взгляд на ее встревоженное лицо, чтобы понять: ее мучит страх. В подобных случаях, дабы убедиться в том, что они еще не потеряли своей власти, старые люди становятся надоедливыми. Так было и сейчас:

— Знаешь, я бы с удовольствием выпила ча-

шечку кофе.

Саломея идет варить кофе, и мадам Резо в течение пятнадцати минут меланхолически потягивает свою чашечку. Потом снова начинает ерзать в шезлонге!

— Этот холст до того грубый!

Саломея идет за подушкой, и эта безотказная услужливость, вместо того чтобы успокоить мадам Резо, тревожит ее еще больше. Она бы охотно сыграла в пикет. Но Саломея не умеет играть в пикет. Тогда в безик? Но Саломея не играет в безик, и мадам Резо начинает думать, что она отказывается нарочно, Бертиль предлагает белот, но мадам Резо не умеет играть в белот. А все же, поскольку невестка неосторожно предложила себя в качестве жертвы, мамаше представляется весьма удобный случай отомстить за то, что мы покинули ее утром.

— Вы видели мои несчастные розы, Бертиль? Вы умеете подстригать кусты?

И вот моя жена уже вооружилась садовыми ножницами. Обэн тащит меня за рукав, и я исчезаю вместе с ним: мы идем в лесок, где я должен построить ему «бамбуковую хижину». Но когда мы вернемся, нас встретит ритмичный стук скребков, срезающих одуванчики на песчаной

дорожке. И жена и дочери, обливаясь потом, скребут изо всех сил под критическим взглядом хозяйки замка, которая, увы, из-за своей эмфиземы не может им помочь. Мне ничего не остается, как взяться за грабли, и нас спасает только появление какого-то толстяка, который, оставив свой грузовичок у ворот, направляется к нам и, не дойдя шагов пяти, снимает фуражку.

— У вас сегодня ничего нет для меня, мадам? — справляется он.

— Кажется, нет, — отвечает мадам Резо, глядя на меня.

Она проворно встает и, проводив быстрыми шагами посетителя — старьевщика, лесоторговца или маклера, — останавливается лишь в конце аллеи и о чем-то беседует с ним так, чтобы мы не слышали. К тому времени, когда она вернется, мы, конечно, уже исчезнем.

Исчезнем до тех пор, пока не зазвонит колокол: на этот раз за веревку дергает Бландина. Сидя в своей комнате, куда я удалился, чтобы часа три поработать за письменным столом, я узнаю ее манеру звонить: как наша служанка Фина в героические времена (но Фина-то была глухая), Бландина не умеет делать это размеренно. Бертиль же сильно раскачивает колокол, но тоже

портит звон, ибо не отпускает вовремя веревку. Только Обэн чутьем понимает, как заставить петь бронзу: удары у него то редкие, то приглушенные, то звонкие; он умеет соединять их вместе, может выражать радость, печаль, нетерпение — как мой отец, который был большим мастером колокольного звона: в молодости он даже придумал особый код, чтобы издали сообщать друзьям о результатах своей охоты.

Спускаюсь вниз. Иду по длинному коридору, освещенному косыми лучами заходящего солнца, которое отбрасывает на противоположную стену пылающие изображения круглых окошек. Одно из них приотворено, и я его захлопываю, чтобы в дом не проникал раскаленный воздух и комары. Лестница скрипит там, где ей и положено. Под балками первого этажа сильнее чувствуется запах гнилого дерева. В столовой, где он особенно ударяет в нос, мадам Резо восседает на своем царственном месте, посреди большого стола, спиной к облицованному плитками камину.

— Не хватает только Саломеи, — заметила Бертиль.

— Я думала, она с вами, — сказала мадам Резо, которую обслуживают вот уже три недели, так что она даже не показывается на кухне.

— Нет, — возразила Бертиль, — она все сделала днем, а сейчас я ее и не просила помочь. Мы справились вдвоем с Бландиной.

Обэн вскакивает, через две ступеньки взбегает по лестнице. Хлопают двери. Он возвращается ни с чем. Саломеи, разумеется, в ее комнате нет: она бы слышала колокол.

— Куда же она запропастилась? — спрашивает мадам Резо изменившимся голосом.

— Я видела, как она шла к речке, — отвечает Бландина. — Но это было около пяти. Позвонить еще раз?

— Я позвоню! — говорит Обэн и срывается с места.

Суп продолжает дымиться. В саду все красное постепенно становится фиолетовым, потом черным (в обратном порядке по сравнению с тем, как меняется цвет сутаны у духовных лиц по мере повышения в сане, говорил Фред). Последний луч солнца соскользнул с гобелена, на котором выткан Амур, ставший одноглазым из-за дырки, проеденной молью. Обэн звонит, слегка раскачивая колокол, и торопливый звон оглашает вечерний воздух, в котором еще носятся стрижи, но уже появились и ночные бабочки. Мадам Резо не дожидается, пока колокол перестанет звонить.

Терпение ее иссякает, она отталкивает свой стул, проходит напрямик через оранжерею и семенит к речке.

— Саломея! Саломея! — кричит она на разные лады.

На горизонте осталась лишь светлая полоса; прячась где-то в невидимом, свистят две сойки, ежеминутно перекликаясь друг с другом; их сменяет сова — она ухает ближе к нам, сидя на тополе. На лугу едва угадываются темные силуэты коров: они тяжело переступают, бродя между яблонями и выдавая свое присутствие резким запахом, хрустом срываемой травы, горячим дыханием.

— Саломея!

Крик мадам Резо почти так же резок, как крик совы, и Бертиль, не привыкшая к ночным звукам в роще, в этот час будто населенной вампирами, вся дрожит, схватившись за мою руку. Наши усилия смешны и бессмысленны. Зачем идти дальше? Под сплетением веток, словно нарисованных углем, на речке, отливающей блеском фольги, четко вырисовывается верная своей пристани неподвижная лодка. Для взрослого человека Омэ не представляет никакой опасности: глубина реки нигде не превышает полутора

метров. Я кричу:

— Обэн, пойди посмотри, машина ее в гараже?

Мадам Резо вдруг поднимается по откосу и направляется прямо к ферме, окутанной испарениями навозной кучи. Дом четко обозначен падающей из открытой двери полосой яркого света, в которой блестят пустые, перевернутые кверху дном бидоны.

— Саломея! — еще раз кричит матушка.

Полоса света разделяется надвое. Марта, следуя за своей тенью, появляется на пороге:

— Вы ищете мадемуазель?

Что до меня, то я больше никого не ищу: мнение мое уже сложилось. Но свекровь с невесткой бросаются к Марте.

— Вы ее видели?

Лицо Марты — лишь темный круг в проеме двери. Но лица моей жены и матери, которые вышли из тени на свет электрической лампочки, вдруг отчетливо проявляются: одно выражает тревогу, другое — ужас.

— Мы с Феликсом ее видели, она уехала около шести часов, — сказала Марта. — Мы даже удивились, почему она поехала мимо фермы.

XVIII

В первую минуту в присутствии Марты — язык-то у нее без костей — мадам Резо кое-как удалось сдержаться, и, чтобы соблюсти приличия, она бросила:

— Могла бы и предупредить нас, что едет в Сегре!

Согнувшись почти до земли от приступа кашля, матушка отступила в темноту, и, когда я остался один, Марта шепнула мне:

— Тут пахнет кавалером!

Улизнуть незаметно задами, чтобы я не помчался вдогонку за ней на «ситроене» (напрасный страх: я не мог представить себя в такой роли), — право, это было излишне. Она перестаралась! Не проще ли было сбежать рано утром под тем предлогом, будто нужно, как обычно, съездить за продуктами никто бы ничего не подумал. Но телеграмма, присланная, разумеется, до востребования, должно быть, точно назначала время встречи. Я убедился в этом, зайдя в комнату Саломеи, после ремонта лучшую во всем доме: там остался лишь запах ее духов, все ее вещи исчезли.

Чтобы не привлекать внимания, она, должно быть, с утра спрятала чемодан в багажник машины и заперла на ключ. Никакой записки я не нашел. Но разве было бы логично, если б она ее оставила? Бегство Саломеи, хоть оно и отличалось от моего, будило во мне воспоминания и служило доказательством — если я в нем нуждался! — того, что наши поступки никогда не остаются без последствий и что к детям, в свою очередь ставшим родителями, возмездие рано или поздно приходит от их собственных детей. Но в конце концов, будь я на ее месте, оставил ли бы я записку? А если да, то куда бы я ее положил, чтобы обнаружили ее не слишком рано и не слишком поздно? Я решил обыскать свою комнату. Каждый вечер мы заходим в ванную… Но там ничего не было. Достаем на ночь пижаму… Опять неудача, но уже теплее, теплее… Перед сном откидываем одеяло… Ай да я! Письмо лежало под простыней — без адреса, без адресата, на листке бумаги с грифом «Хвалебного», такой старой, что на ней появились даже желтые разводы.

«Я уезжаю с Гонзаго, которого освободили условно. Если судьи его не осудили, то почему должна это сделать я? К че-

му пререкаться: вам говорить, что он может погубить меня, мне — утверждать, что я могу его спасти. Ошибка молодости — не так уж это страшно. Да и потом, все очень просто: я не могу без него.

Простите, что не предупредила вас: вы бы постарались меня удержать. Простите также за откровенность: я считаю себя вправе так поступить. Рано или поздно девушка должна покинуть родительский дом. То, что я узнала от бабули, мешало мне чувствовать себя в нем свободно. Но оставаться с ней, хотя она давала мне все, не будучи ничем мне обязана, я не могла, так как это поставило бы меня в еще более сложное положение. Я благодарю ее за помощь и прошу ее, как и всех тех, кто меня любит, — не мешайте мне жить».

Дальше следовала неизменная приписка «*Крепко целую*», которая всегда меня раздражала — если поцелуи бывают крепкие и менее крепкие, значит, само понятие существует в разных качествах? Так что же выбрал сейчас этот маленький чувственный рот, разжав влажный барьер

своих зубов? Следовал еще постскриптум: «*Мы уезжаем за границу и пробудем там некоторое время. Я вам напишу*». Я охотно воздержался бы от комментариев, но, чувствуя обиду, я вместе с тем сознавал, что где-то промахнулся, и ощущал на себе тяжесть ответственности; мне казалось, что меня предали, я преисполнился глупой иронии, за которой мы обычно прячем наши неудачи. «Не мешайте мне жить» в ее возрасте это значит: «Не мешайте мне жить без вас» (а еще точнее жить с таким-то, причем подразумевается рифма «жить — любить»). С письмом в руке я прошел неизбежным коридором в другое крыло дома, где мамаша рухнула в старое, засаленное кресло с дырявой стеганой обивкой, зажатое между незашторенным окном, тридцать два стеклянных квадратика которого четко выделялись в темноте, и печкой, которая так прокоптила комнату, включая балки, что даже в разгар лета тут все еще пахло сажей. Бертиль — сплошной комок нервов — сидела верхом на соломенном стуле. Она вырвала у меня письмо, мгновенно прочитала его и швырнула на колени мадам Резо, прошипев:

— Так что же вы рассказали Саломее, матушка? Это надо выяснить.

Мадам Резо вперила в бумагу взгляд своих по-

чти остекленевших глаз. Подбородок ее дрожал, и на мгновение я даже подумал, уж не хватил ли ее удар. Но, взяв трясущейся рукой письмо, она наконец пробормотала:

— Я… не… понимаю.

— Об этом мы еще поговорим, — сухо отрезала Бертиль. — Сейчас я пойду накормлю детей. Во всяком случае, завтра я уезжаю: тут мы ничего не можем ни узнать, ни сделать.

Когда Бертиль вышла, тяжелые веки мадам Резо опустились: не поднимая их, она прошептала:

— Я тоже уезжаю. Если я понадоблюсь Саломее, она вернется не сюда, а в Париж.

— Если только она оттуда действительно уехала, — высказал я заведомо неуместное сомнение в надежде узнать правду. — Она не так богата, чтобы уехать далеко.

— Ну, деньги-то у нее есть! — вздохнула дарительница, ничего к этому не добавив.

Восковая статуя из музея Гревэн, она с трудом дышала сквозь свои больные бронхи; зрелище было тягостное, и я едва не пожалел ее. Но надо было вскрыть нарыв.

— Вы прекрасно знаете, что она не вернется. Одно дело — оторвать девушку от семьи посредством наговоров, подарков, соблазнив ее неза-

висимостью. Другое дело — заставить ее жить с таким старым человеком, как вы. Оторвавшись от нас, Саломея добилась единственной цели — быть ближе к Гонзаго, ждать его, использовав вас, чтобы в нужный момент иметь возможность помочь ему.

Выражение полнейшего безразличия на этом лице, обычно столь явно отражавшем злобу, не изменилось. Но, подумав немного, я понял: она ищет, чем бы причинить мне боль. Потом знакомый голос начал жалить:

— Тебе следовало бы благодарить меня! Если бы ты не питал низменных чувств к своей падчерице, ты отделался бы от нее с такой же радостью, как Бертиль от Жаннэ.

— Может быть, мне следовало бы поблагодарить вас также за то, что вы по-своему рассказали ей о смерти ее отца?

Хотя из-за отсутствия доказательств я не говорил об этом никому, даже Бертиль, я давно подозревал это. Я мог бы даже указать дату и место: 11 марта, бульвар Баллю, за два часа до того, как Саломея объявила нам о своем намерении переселиться в Париж.

— Как это «по-своему»? — крикнула мадам Резо, неожиданно признаваясь. — Но ведь это же

правда, что ты убил ее отца! Все поражаются, как после этого Бертиль могла выйти за тебя замуж.

Комната матушки всегда была затянута паутиной; при электрическом свете она голубела по углам, и мне казалось, что я попал в огромные паучьи тенета, в центре которых меня ожидала эта старуха с крючковатыми пальцами. «Все поражаются…» Все — это, значит, она, Саломея, Марта Жобо и радио Соледо после мессы или после закрытия рынка, то есть вся деревня, весь округ Сегре, даже вся провинция Анжу. Если хорошенько разобраться, сплетня предназначалась не только для Саломеи; но даже если учесть страсть мадам Резо, или ее жажду мести, или и то и другое вместе, нелепость ее наветов оставалась явной: мадам Резо разрушала собственную работу, она ставила меня в такое положение, при котором я не мог дальше оставаться в этом округе.

— Трудно будет простить вам это! — сказал я, предвосхищая слова, которые немного позже бросит ей Бертиль.

— Я терпела от тебя и не такое! — ответила она вяло, но и без сожаления.

Потом, до следующего вечера, она погрузилась в ледяное молчание.

Будем откровенны: сколь глубоко мы ни были

расстроены, нам все-таки пришлось остановить машину и перелезть через живую изгородь, дабы справить малую нужду. И я отмечаю это вовсе не для смеха: сегодня, болезненно ощущая отсутствие мадам Резо, свидетеля забытых лет моего существования, с тоской вспоминая о ней, как вспоминает человек о потерянной ноге (разве мы любим свою ногу? Нет. Но без нее мы не можем ходить), я охотнее задерживаюсь мыслью на отдельных подробностях, чем на ее отношении ко мне в целом. Я снова вижу, как она, не говоря ни слова, быстро воспользовалась тем, что я затормозил по просьбе Обэна. Я вижу, как на протяжении трехсот тридцати километров она пережевывает свое разочарование вместе с двумя сандвичами и крутым яйцом, в то время как Бертиль нарочно говорит со мной так, будто справа от меня сидит не человек, а манекен (один из тех старых портновских манекенов, формы которых, полные и округлые, обтянутые серой материей и начисто лишенные всех признаков пола, всегда напоминали мне фигуру матушки). Я снова вижу, как она выходит из машины перед своим домом на авеню Шуази и ждет, пока я сниму ремни, придерживающие ее чемоданы вместе с нашими на хромированном багажнике. Бертиль опустила

стекло, но не двинулась с места, и тогда, стараясь соблюсти приличия, мадам Резо сказала:

— Не выходите, дети: здесь большое движение.

— До свидания, мадам! — сказала Бертиль, удерживая Обэна, который уже взялся за ручку дверцы.

Я один понес старые отцовские чемоданы из буйволовой кожи — они хлопали меня по икрам. По пути мадам Резо подошла к консьержке и бесстрастным тоном спросила, видела ли та ее внучку.

— Мадемуазель Форю приезжала сегодня ночью, — ответила молодая женщина, неопределенно улыбнувшись. — Около полудня она снова уехала и сказала, что теперь вы будете здесь хозяйкой. Ее машина в гараже.

— Оставила она свои ключи? — спросила мадам Резо.

— Нет, — ответила консьержка и вдруг перешла на множественное число: — Я хотела спросить у них адрес, но они торопились, им нужно было поспеть на самолет в Орли.

В лифте, поднимавшемся очень быстро, мадам Резо на мгновение схватилась за сердце.

— Они ночевали здесь! — пробормотала она сердито. Потом лицо ее прояснилось: — А все-та-

ки ключи она оставила у себя!

Но после того, как она отодвинула три засова, подняла шторы; после того, как на мгновение почувствовала себя дома; после той благодатной минуты, когда ноздри ее расширились, вдыхая аромат «Двадцати цветов», а при виде портрета над кроватью заблестели глаза, воспоминание об отсутствующей стало для нее нестерпимым. Тяжело дыша, снова вся напряженная, она присела на краешек кресла, в котором уже научилась утопать.

— Если ты хоть что-нибудь узнаешь, извести меня, — взмолилась она. — Не покидай меня окончательно.

XXIX

Если бы я посмотрел в папку с дюжиной отделений, где хранилась ежедневная почта Резо, и, отложив в сторону самые старые письма, отобрал бы только недавние, из подгруппы Эрдэ, то оказалось бы, что по крайней мере две трети их помечены августом. Подобно приютским детям, которые, обретя семью, особенно сильно к ней привязываются, я не расстаюсь с женой и детьми в течение десяти месяцев, а это даже слишком. В июле мы еще все вместе проводим отпускное время. Но в августе — никогда: в августе мы разъезжаемся по разным местам, чтобы отдохнуть друг от друга. Тогда все устное становится письменным: чернила — это материальные следы отсутствия. И тут у каждого следы эти оказываются разными: болтун Обэн переходит на телеграфный язык; Бландина удивляет образцами хорошего стиля; Бертиль, обычно такая будничная, пускается в философствования. Только я никого не удивляю: сапожник всегда без сапог.

Короче, я остался один. Бертиль, добрая по нату-

ре, но с трудом прощающая обиды, подумывала, не собрать ли «совет», чтобы отомстить матушке. Мы с бабушкой Дару отговорили ее: одно дело — предоставить детям возможность выразить свое мнение или соображение, имеющее какую-то ценность, другое — заставить их осудить кого-то. Кроме того, хотя Бертиль была приглашена к своей тетке в Берри, она колебалась, ехать ей или нет. Однако вскоре пришла телеграмма:

> «Поселились в Монреале 110, улица Шербрук 1178, кв. 765. Все благополучно».

Обосновались они в слишком уж неожиданном месте, и потому надо полагать — все было заранее подготовлено. Наконец, как и было намечено, Бландина отплыла в Англию, а Обэн — в Ирландию, Бертиль поездом уехала в Бурж, попросив меня остаться дома, чтобы получать почту и извещать всех о новостях, в особенности из Канады.

— Только не вздумай пересылать письма твоей матери!

Это отнюдь не было жертвой с моей стороны. Никогда я не работаю так успешно, как во время каникул, весь смысл которых заключается для меня в том, что я имею возможность поправить

немного свое здоровье или попутешествовать. Стоит мне остановиться в гостинице, я сразу превращаю свой номер в рабочий кабинет. Поскольку я не научился развлекаться в более подходящем для этого возрасте, почти все, что понимается под этим глаголом, мне кажется скучным (или, если угодно, не способно затмить ту игру без партнеров, в которую я с радостью играю круглый год). В течение месяца меня кормила приходящая прислуга — за исключением тех дней, когда я наведывался к Жаннэ, к Батисту, который уже вернулся, и к Арно Макслону, который еще не уехал на побережье. Мне писали, звонили отовсюду; я информировал всех, и между всеми нами, озабоченными нашими недавними неприятностями, как бы рикошетом возникал приглушенный диалог. Я цитировал Поль, которая недавно мне звонила:

«Как жаль! Единственный раз сердце мадам Резо послужило ей для чего-то иного, не имеющего отношения к ее кровообращению».

Я цитировал Бертиль:

«Двадцать лет мы не имели с ней дела. Пусть так и будет».

Но Бландина, уже из Ливерпуля, реагировала так:

«Не иметь с человеком дела — значит не знать его. Труднее его забыть. Я не могу целиком осуждать безумства бабушки, и мне нравится безумство Саломеи, которая, сбежав, отказалась от всех своих преимуществ».

«Да, но то, что она оставила у себя деньги, мне нравится куда меньше», — передавал через меня Жаннэ.

«Я сейчас же ей напишу», — сообщил Обэн из молодежного лагеря где-то между Кинсейлом и Корком.

Он-то мог это сделать, он не боялся совершить неловкость, отказавшись от общения с сестрой, или проявить слабость, приняв как должное ее новую жизнь. Отправив двусмысленную телеграмму: «Наши дружеские чувства, наш адрес неизменны», мы с Бертиль договорились некоторое время молчать. Лучше внушать сожаление, чем раскаяние; пусть, сожалея о нас, они благоденствуют в чужом краю. Впрочем, я пытался забыть об этом, переключиться на другое, поговорить, к примеру, о младенце, которого ждала Мари. Но без большого успеха. Родственники тоже задерживают внимание только на чем-то сенсационном. Наших детей, которые не придают большого значения любовным приключениям

своих братьев и сестер, почти вовсе не интересуют их последствия, в особенности истории, связанные с деторождением. Большой живот в их глазах стал испытанием или даже возмездием за безмятежность идиллии. «Здорово ее раздуло!» — тихонько говорил мне Обэн незадолго до своего отъезда, видя, как тяжело ступает его невестка. И сверх всего мадам Резо не позволяла полностью забыть о себе. Покой нам давался нелегко. И недели не проходило без того, чтобы ко мне не приставали (разумеется, третьи лица), стараясь повлиять на меня, уговаривая проявить снисходительность, не доводить дело до открытого разрыва. Первой позвонила консьержка с авеню Шуази и своим чарующим голосом графини сказала:

— Ваша матушка здесь, рядом со мной. Она просила меня позвонить вам и поговорить вместо нее: она боится, что не услышит вас. Если бы вы могли навестить ее, она была бы рада сообщить вам новости, которые получила от мадемуазель Форю.

Значит, Саломея, которая нам еще не написала, продолжала поддерживать равновесие, и теперь моя мать уже не могла на нее сердиться — она не могла сердиться и на меня за то, что я сержусь на

нее. Для этого мамаша была слишком снисходительна! Подумав, я нашел верный тон:

— Передайте, что я ее благодарю. Я тоже получил известия.

Неделю спустя настал черед мэтра Дибона, нотариуса из Соледо, который тоже позвонил мне по телефону:

— Простите за беспокойство, но в «Хвалебном» неприятность. На ферме у Марты Жобо снизился напор воды; она тут же пошла проверить, что делается у вас. Оказалось, что котел, хоть он и новый, лопнул. Это привело к значительным повреждениям. Я поставил в известность мадам Резо, но она говорит, что это в равной мере касается и вас. Работы были выполнены недобросовестно. Может быть, вы договоритесь и дадите мне указания?

Почему этот нотариус интересуется водопроводом, пусть даже в качестве соседа? Это, конечно, только предлог. Но для чего? Однако хороший сын не должен питать недоверия:

— Пусть решает матушка: я полностью полагаюсь на нее.

Но упорство мадам Резо толкнуло ее на нечто большее. В день святого Христофора — кстати говоря, как раз в его ведении охрана шоссе и дорог

снова телефонный звонок, на сей раз из Парижа:

— Говорят из клиники Формижона, на улице Тольбьяк. Ваша матушка просит сообщить вам, что, когда она выходила из комиссариата, где получала паспорт, какой-то мальчуган, катавшийся на роликах по тротуару, ушиб ей левую ногу. Перелома у нее нет, только кровоизлияние. Мы надеемся, что мадам Резо пробудет у нас не больше трех дней. Она находится в тридцать седьмой палате и просит, чтобы ей принесли халат.

Вот таким образом около часа дня я очутился на перекрестке Бобийо Тольбьяк. Какой-то «мерседес», отъехавший, как раз когда я подъезжал, освободил мне место в тридцати метрах от перекрестка, почти напротив клиники. Я вышел, стал запирать дверцы… И тут вдруг позабыл и про сумку, куда только что запихал один из халатов Бертиль, и про палату номер 37, и про все прошедшие годы. Тольбьяк — *это была наша станция метро*. Сколько раз ожидал я ее около схемы подземных линий и, перегнувшись через перила, обегал взглядом бесчисленное множество голов, которые изрыгал подо мной выход из метро. Повинуясь тем, врезавшимся в память прежним дорожным указателям, отмеченному металлическим знаком переходу, шагая по своим

прежним следам, я незаметно уклонился в сторону, я вновь *возвращался домой* по улице Фурье, где заканчивалась крутым поворотом улица Белье-Дедувр, бывшая улица Колоний, и удивился, только обнаружив, что нахожусь уже в начале улицы, у дома № 3, в том месте, где, возвращаясь из сквера, она приподнимала передние колеса колясочки Жаннэ, чтобы въехать на тротуар.

Я никогда не хожу по улице Белье-Дедувр. Я не провожал Монику на кладбище: в то время я лежал в больнице, поэтому она для меня похоронена не в Тиэ, а скорее здесь, на втором этаже направо, в этой шестидесятиметровой квартире с тергалевыми занавесками на двух окнах. Поперек одного из них натянута веревка, чтобы вешать детские штанишки. Второе окно открыто, и из него струится веселая волна звуков… Здравствуй, милая! Ты так и осталась двадцатисемилетней, ты молода, скоро ты сравняешься возрастом со своим сыном. Никто не назовет тебя бабушкой… Да, я храню твой бумажник и в нем твою карточку — ту, где ты снята на берегу речки; фотографировал я с другого берега, и карточка эта всегда внушает мне желание крикнуть: «Переходи!» той девочке, которую все больше и больше отдаляет от меня непреодолимая ширь

километров времени.

— Андре! — крикнула молодая женщина, неожиданно появившаяся у окна. — Ты смеешься надо мной, что ли? Вот уже битый час, как я жду мяса.

Какой-то мелкий служащий в серой блузе, выходивший из бистро, пустился бегом: значит, вот он какой — тот, что бреется у моего умывальника. А до него, конечно, были другие… Я на редкость чувствителен к родству, создаваемому пространством, и всегда удивляюсь, что не знаю, кто же заменил меня в том или ином месте… Да, вот еще что! Это был вызов с моей стороны, но именно здесь, в этом квартале, у меня назначена встреча с той, которая бросила Монике: «Вы никогда не войдете в нашу семью». Я возвращался не спеша; меня терзал глупый вопрос: две кузины, любившие друг друга, — любили ли бы они друг друга сейчас? Женившийся вторично вдовец всегда чувствует себя двоеженцем. Но почему мамаша решила лечиться именно в этом районе?

Я вернулся за сумкой. Не поднимаясь в тридцать седьмую палату, я оставил халат в регистратуре.

XXX

Меня предупредило приглушенное «тук-тук» ее палки с резиновым наконечником, стучавшей по последним ступеням лестницы. Она не позвонила предварительно по телефону — она бесшумно отворила и затворила калитку, открыла дверь в коридор, в переднюю и поднялась по лестнице так, что ее не заметила мадам Глэ, приходящая прислуга, пылесос которой шумел у меня в спальне и благоприятствовал этому тайному проникновению. Я еще не успел встать со стула, как она постучала… И вот уже мадам Резо входила, ворча, в комнату:

— Боже, как у меня болит нога!

Нога, еще забинтованная, показалась мне действительно распухшей, а путешествие матушки в Гурнэ по меньшей мере преждевременным.

— И я даже не могу подать жалобу на родителей этого проклятого мальчишки: он сбежал!

Без дальнейших излияний она уселась напротив меня, вытянув ногу. Лицо ее, обрамленное крашеными волосами, белыми у корней, испугало меня: желтое, в коричневых пятнах,

изборожденное глубокими складками и множеством мелких морщин, с обвисшей кожей и тусклыми печальными глазами, окруженными синеватыми склеротическими прожилками.

— Я привезла тебе ключи от «Хвалебного», — продолжала мадам Резо. — Вы там разберетесь с Мартой. Послезавтра я уже буду в Монреале: билет на самолет у меня в кармане.

Ключи! Неужели ей до такой степени опротивели осколки ее империи, что она передает мне все заботы о ней? Неужели она решила вовсе туда не возвращаться? Или намерена отсутствовать так долго, что назначает меня управляющим?

— Не знаю, правильно ли вы поступаете, — вполголоса заметил я, — во всяком случае, сначала вам следовало бы подлечить ногу.

Мадам Резо пожала плечами:

— Мне семьдесят пять лет. Ждать некогда.

Она открыла сумку, вытащила из нее связку больших ключей с замысловатыми бородками и бросила мне на стол.

— А потом, нужно вернуть Саломею прежде, чем она там обживется. Она хочет быть с этим парнем… Пусть она будет с ним! Но здесь, возле нас.

— А если она откажется вернуться?

— Можно жить и в Канаде, — злобно сказала мадам Резо. И тотчас переменила тему разговора: — Невестка твоя еще не родила?

Чистейшая вежливость с ее стороны. Я сказал, что роды у Мари немного запаздывают, что Биони начинают волноваться.

— Еще не было самолета, который навсегда остался бы в воздухе, сказала мадам Резо, — и не было еще ребенка, который остался бы во чреве матери. Пусть наслаждается последними счастливыми деньками твоя невестка! Теперь ей лет на двадцать хватит работенки… Ладно! Не хочу злоупотреблять твоим драгоценным временем. Ты не мог уделить и часа, чтобы навестить больную мать, — значит, ты перегружен работой. Я покидаю тебя…

Она не сказала ни «до свидания», ни «прощай». Она покидала меня. В таком возрасте она с холодной решимостью оставляла родину, бросала все: привычки, мебель, дом, родные места, детей, внуков и прочее. Устремив взгляд на мелководную — как всегда летом — Марну, на ее берега, густо усеянные приехавшими на пикник горожанами с бутылками и колбасой, развалившимися среди жирных бумажек девицами, я не находил слов от изумления: в нелепом всегда есть что-то восхи-

тительное. Я только взял под защиту ее ногу:

— Вам нельзя тащиться пешком к автобусу, а потом еще по переходам метро. Я сейчас выведу машину и отвезу вас.

— Благодарю за внимание! — ответила мадам Резо, едва разжав губы и устремив взгляд на семейное древо (копию того, что мы подарили ей), где среди шести медальонов едва заметно качался на своем крючке медальон с фотографией Саломеи.

Сбежать вниз, в подвал, толкнуть двустворчатую дверь гаража, завести мотор и поставить машину у крыльца, пока матушка, опираясь на свою трость, будет спускаться с лестницы, — все это заняло у меня не больше минуты. Но к исходу второй минуты мне уже начало казаться, что она слишком устала, передумала и решила ехать после обеда. Я снова поднялся. В гостиной никого, в передней и на лестнице — тоже. Пылесос гудел теперь в комнате Бландины, и стук его щетки, наталкивающейся на плинтус, отбивал такт спокойной работы поденщицы. Но, дойдя до площадки, я увидел конец палки, торчавший из приотворенной двери кабинета, и чуть дальше, на полу, две судорожно вздрагивающие ноги.

Я бросился в соседнюю комнату, чтобы вы-

ключить пылесос и позвать на помощь... Я не врач, а если я и изучал некоторые медицинские вопросы и одно время даже был связан с ВОЗ,[24] то тем более не мог позволить себе довериться своим предположениям: ушибленная нога начала пухнуть уже после выхода из клиники, на ней образовался флебит, о чем больная не подозревала, — известно, что при этом легко может возникнуть тромбоз. Мы поднимаем мадам Резо, переносим ее на кровать Бландины. «Бедняжка! Бедняжка!» — повторяет поденщица — вдова, схоронившая троих детей, у которой сочувствие сочетается с редким хладнокровием, свойственным людям, получавшим от жизни тяжелые удары. Туфли, чулки, жакет — все это уже снято. Мадам Резо не потеряла сознания, но она не может говорить: вся синяя, вытаращив глаза от страха, она открывает рот словно рыба, вытащенная из воды; она едва дышит и корчится, судорожно прижав руку к тому месту под ребрами, где, по-видимому, ощущает невыносимую боль.

— Звоните скорее, она может умереть, — шепчет мадам Глэ.

---

[24] Примечания: 24
Всемирная организация здравоохранения.

У Бертиль есть записная книжка с телефонами, которые могут срочно понадобиться, но она либо взяла ее с собой, либо куда-нибудь засунула — во всяком случае, когда нужно, таких вещей никогда не найдешь. Приходится листать телефонную книгу… Увы, наш постоянный врач в отпуске, его заместитель уехал к больным. Тот же ответ у одного из его коллег, секретарша которого обещает мне сделать все возможное, чтобы разыскать его и прислать в течение часа или двух. Подумав, звоню Флормонтэну: мне повезло — он сам подошел к телефону, и я излагаю ему свои опасения.

— Собственно, я здесь больше не практикую, — отвечает он. — Я продал свой кабинет в Ланьи, а сам перебираюсь в провинцию. Как раз заколачиваю ящики. Но к вам я сейчас же приеду.

Он действительно приедет очень быстро, воспользовавшись «триумфом» Гонзаго. За это время мадам Глэ с помощью соседки, мадам Сотраль, за которой я мгновенно сбегал, раздела и уложила все еще лиловую и скрюченную мадам Резо. Но когда приехал доктор, она доказала, что сознание у нее не померкло, покачав головой в ответ на вопрос, который он мне задал:

— Ей не вводили антикоагулянтов? — Потом он проворчал: — Если бы мадам Резо вовремя пока-

залась своему врачу, до этого бы дело не дошло.

В ответ мамаша слабо повела рукой.

Педантичный, добросовестный, Флормонтэн внимательно выслушивает ее, потом измеряет ей давление. Деловито нахмурив брови, он ищет что-то в своем чемоданчике, достает оттуда шприц и быстро делает ей укол в бедро. После этого он стягивает жгутом ее руку и в обозначившуюся вену медленно вводит содержимое другой ампулы.

— Вы, я смотрю, один дома, — говорит он. — Я постараюсь прислать к вам сиделку.

Он снова укладывает чемоданчик, искоса наблюдает за больной, которая, немного отойдя, шевелит губами, хотя ей и не хватает воздуха, чтобы что-то сказать. Доктора Флормонтэна я мог бы упрекнуть лишь в том, что он тревожит меня своей чрезмерной невозмутимостью: плохо, когда человек его профессии принимает вид священника, который все знает, хотя не должен был бы знать о тех ужасах, в которых исповедалась ему паства. Вот он уже нацарапал рецепт, поклонился, спустился вниз. Наш кратчайший диалог у лестницы только подтвердил мои опасения.

— Диагноз? — спросил я.

— То, что вы и подозревали, — отвечает он. —

Легочная эмболия.

— А прогноз?

— Сами понимаете.

Он пересекает переднюю и останавливается посреди гостиной.

— Она может погибнуть от удушья, — говорит он. — Предупредите всех. — И неожиданно отец берет в нем верх над врачом! — Я хотел вам сказать… Мы с женой должны извиниться перед вами за это тягостное дело и поблагодарить Саломею за то, как она себя повела. Гонзаго и так повезло: у него почти ничего не конфисковали, поэтому его судили как потребителя наркотиков, а не как поставщика. Но показания Саломеи не только поддержали Гонзаго — она сумела растрогать судей. Впрочем, я прекрасно понимаю, что вы не можете быть довольны ее выбором. Будущее покажет, ошиблась она или нет… Пока до свидания, я еще зайду к вечеру.

Он уходит, поглаживая розовую лысину, а я бросаюсь к телефону, набираю цифру 14 и отправляю семь телеграмм: Бертиль, Саломее, детям, чете Жобо, братьям. Последний звонок по телефону — Жаннэ. Не застав его на месте — он пошел завтракать в столовую, — я переговорил с дежурной на коммутаторе, которая обещала все

ему передать. Вернувшись в комнату Бландины, я обнаружил, что мадам Резо дышит немного ровнее, но она совершенно безжизненно погрузилась в три пуховые подушки, которые мадам Глэ подложила, чтобы немного ее приподнять.

— Я могу побыть у вас, пока не приедет сиделка или мадам Бертиль, предлагает поденщица. — Только разрешите, я позвоню домой и предупрежу.

Когда я подхожу к постели, глаза матушки следят за мной. Ее губы снова шевелятся, но беззвучно. Она делает усилие, чтобы вдохнуть еще воздуха, и ей удается прошептать:

— Пошли ей телеграмму…

Быть может, мне не следовало отвечать «уже послал»: этим я дал ей понять всю серьезность ее состояния. Глаза ее смыкаются, и передо мной душераздирающее зрелище воплощенного отчаяния. Ничто уже не может облегчить ее муки, разве только то, что неизбежно надвигается. Я всегда думал, что наказанием ей будет всеобщее равнодушие и презираемая всеми одинокая старость. Неправда! Покарает ее сама любовь, открытая ею слишком поздно и тут же утраченная… Однако же я заблуждался, полагая, что она хоть на мгновение способна покориться судьбе.

Выражение ее лица вдруг меняется. Глаза вновь открылись, и на этот раз в них горит бешенство. Меня ли ненавидит она в этот момент или ненавидит себя, а может быть, только нелепость случая — этого я не узнаю. Раскаяние это или вызов, простая цитата или отвратительная шутка — этого я не узнаю. Она сейчас произнесла три слова, те самые, что мы выкрикивали, кружась в неистовом хороводе, слова, выражавшие тогда преждевременное пожелание и почти через сорок лет ставшие неизбежной реальностью. Она прошептала их как бы в два приема с еле заметной иронической улыбкой:

— Психимора… сейчас подохнет.

XXXI

Мы все — актеры, авторы, зрители: между пережитой, прочитанной, увиденной, воображаемой или рассказанной драмой нет истинной разницы. Пусть она наша собственная, пусть чужая — это все та же, в миллионный раз повторенная и вновь пережитая драма. Наше в ней только даты, имена, подробности, и в том, что это трагедия личная, кроется иллюзия исключительности; на самом же деле это отвратительная банальность. Если бы подобная трагедия касалась матери любого другого человека, он счел бы ее неслыханной. Как и я. Во мне ущемлено какое-то странное чувство собственности, я словно горжусь тем, что мать у меня была не такая, как у других: она не любила меня, и я не любил ее, но каждый из нас заполнял существование другого. В годы моего отрочества, исковерканного ею, я желал ее смерти, а теперь я не хочу, чтобы она ушла из моей жизни!

Ночь подходит к концу, душная, жаркая, с назойливыми комарами. Мадам Резо тяжело дышит, скорее пыхтит в красноватом полумраке стоящей у ее постели лампы, затененной шел-

ковым платком. В течение последних двадцати часов она несколько раз преображалась, и одна за другой передо мной появлялись разные женщины, облик которых она принимала в своей жизни. Строптивую старуху, посмевшую издеваться над смертью, сменила воспитанница монастыря, с ужасом осознавшая всю дерзновенность только что произнесенных ею слов. Желая привести в порядок свои дорожные счета и смазать елеем колеса перед последним путешествием, она прошептала:

— Священника, быстро.

Чуть позже, когда ходатай за спасение ее души, погасив свечи и сняв облачение, удалился, матушка после отпущения грехов не захотела больше рисковать и, погрузившись в состояние благодати, стала перебирать четки пальцами левой руки — пять и пять будет десять. Она разжала губы еще только два раза. Первый раз, чтобы дать возможность сидящей в ней почтенной представительнице буржуазного рода сообщить мне, что ее дела на земле урегулированы, так же как и на небесах:

— Мое завещание… у Дибона.

Во второй раз — чтобы справиться о судьбе посланных мною телеграмм:

— Ты… не получил… ответа?

Я сказал, что еще не получил, и мадам Резо, названная бабушка Саломеи Форю, закрыла глаза, из которых медленно выкатились крупные слезы. Потом она стала постепенно покидать свою телесную оболочку. Когда около пяти часов вернулся доктор Флормонтэн, он мог только констатировать, что давление понизилось, едва прощупываемый пульс участился. Сиделки он не нашел, но в ней уже не было необходимости. Уходя, он столкнулся с Жаннэ, который пробыл всего две минуты: я тут же отправил его домой: у Мари начались схватки. В ближайшие часы я ничего не ждал ни от Обэна, ни от Бландины, на приезд которых в лучшем случае можно было рассчитывать не раньше следующего дня; ничего не ждал я и от братьев — они были в отпуске и, вероятно, где-нибудь путешествовали, так что с ними трудно было связаться. Я не ждал и Бертиль, чья тетка жила в пятидесяти километрах от Буржа, в каком-то невероятном захолустье, где не было ни поезда, ни автобуса. Но трудности часто оборачиваются к нашей выгоде: когда около полуночи мадам Глэ уже собиралась уйти и оставить меня одного, явилась совершенно измученная Бертиль — она перескакивала из одной попутной

машины в другую и в конце концов прибыла на мешке с картофелем, остановив по дороге грузовик, направлявшийся на Центральный рынок.

Сначала она сухо сказала:

— Нужно же было, чтобы твоя мать приехала умирать сюда!

Потом, противореча самой себе, ахнула, что я до сих пор не предупредил всех Дару: семья цементируется — я вечно забываю об этом — солью крестин, сахаром варенья и содой сожалений. Я дал ей возможность исправить эту ошибку, благодаря чему новость распространилась, и телефон трезвонил всю ночь: один раз, правда, мадам Биони, колеблясь между скорбью и ликованием, сообщила мне, что у Мари уже отошли воды и что Жаннэ увозит ее в клинику.

— Жан! — услышал я справа от себя шепот.

Я подскочил. Нет, это не матушка, она не просыпается. Она очень редко звала меня по имени. Так же как я сам называл ее то «Психимора», то «старуха», то «сова», то «мадам мамаша», то «мадам Резо», то просто «мадам», произнося слово «мама» только в насмешку, она тоже, в зависимости от того, с кем говорила, называла меня то «мой сын», то «твой брат», то «ваш муж», то «он», то «этот парень», то «второй», то «другой»,

а иногда даже (dixit[25] мадам Ломбер) «гурнеец» или «писака». Нет, это Бертиль встала с постели, чтобы сменить меня.

— Пойди приляг немного.

Она же и расталкивает меня. Зяблики, гнездящиеся в декоративной сливе у самого дома, щебечут напропалую. Уже совсем рассвело. Значит, я заспался.

— Нет, она все еще держится, — отвечает Бертиль на мой безмолвный вопрос. — Я разбудила тебя потому, что звонили Бландина и Жаннэ.

Голова ее падает мне на плечо.

— У тебя родилась внучка Моника. Я не осмеливаюсь посылать тебя взглянуть на нее. Твоя мать все же очень плоха. Ты слышишь?

Я встряхиваюсь, одергиваю куртку, ибо спал я одетый и в обуви, прямо на покрывале. Иду по коридору, оглашаемому прерывистым хрипом агонии.

— Мне придется ехать за Бландиной в аэропорт Бурже, — продолжает Бертиль. — Не знаю уж, как ей это удалось, но она прилетает через сорок минут самолетом британской авиакомпании. Времени у меня в обрез. Уборщица должна быть

---

[25] Примечания: 25
Сказала (лат.).

здесь с минуты на минуту, и мама моя обещала вчера вечером, что она тоже придет. Попробуй все-таки что-нибудь проглотить.

Она уезжает. Я приближаюсь к кровати, покусывая губы. В самом деле, живые, чтобы оставаться живыми, нуждаются в пище. Во время войны однажды мне пришлось есть неподалеку от нескольких трупов. Помню, друг одного из убитых, ковыряя ножом в консервной банке, сказал: «Рубленая свинина! Бедняга Альбер обожал ее — он ведь был из Мана». В Кранэ не тушат мясо до бесконечности, там любят свиные шкварки и, когда колют свинью, обязательно угощают тарелочкой этого кушанья соседа, землевладельца, кюре. Мадам Резо обычно считала куски: если ей приносили меньше шести, она благодарила сухо, в особенности когда жирная часть, окаймленная кожей с плохо обритой щетиной, преобладала над постной. Мадам Резо не будет больше есть ни шкварок, ни других приношений своих фермеров. Став прабабушкой неведомо для себя, она теперь лежит с открытым ртом — обнажив золотые зубы и старые, стершиеся клыки, трогательные в своем бессилии и бесполезности. В горле у нее словно надуваются и лопаются большие пузыри, выталкиваемые слабеющим

хрипом агонии. Время от времени выдыхаемый воздух не в силах одолеть препятствие — он задерживается и выходит икотой. Восковое лицо, обрамленное слипшимися прядями волос, уже ничего не выражает; рот — всего лишь отверстие автомата, посредством которого поддерживается действие мехов, некогда запущенных в ход для новорожденной Поль Плювиньек, когда она в начале жизни отрыгнула первое молоко, которое сегодня сменила белая пена конца.

Но вот зазвонил телефон. Он зазвонил как раз в тот момент, когда вдох надолго задержался. Могу ли я шевельнуться? Тишина простирается по крайней мере на четыре такта паузы. Наконец с бульканьем выходит слабая струйка воздуха, мехи снова начинают работать, ребра поднимаются: она еще дышит. Раз, два… Третий выдох прерывается на несколько секунд как бы в нерешительности; потом слышится легкий шум, будто лопнул баллон; грудь ее оседает, тихо освобождая несколько кубических сантиметров воздуха, которые уже не будут возмещены. Торчащий подбородок отваливается, зеленые глаза гаснут в щели сомкнутых век…

Звонки прекратились, но на другом конце линии, видимо, проверили номер и набрали

еще раз. Теперь я могу взять трубку. Впрочем, пусть подождут. В ту минуту, когда вы, мадам, ушли из жизни, не пора ли мне почувствовать, что вам я обязан своею собственной жизнью, и подумать о своем сыновнем долге. Хоть вы и не были для меня тем, чего сын вправе искать в своей жизнедательнице, без вас, такой, какой вы были, я бы не появился на свет. А это не пустяк, и поражает меня сейчас то, что в конечном счете мы так плохо знали друг друга; всего несколько лет моего отрочества после вашего возвращения из Китая; несколько недель после того, как вы вернулись с Антильских островов, — мне тогда было лет двадцать; и потом, четверть века спустя, каких-нибудь несколько дней в течение этого последнего года. Роль, которую мы играли друг для друга, никак не соизмерима со временем, проведенным нами вместе, и если нежность при этом отсутствовала, взаимного интереса было хоть отбавляй. Вы представляли собой исключение… Тем лучше для других, но, быть может, и для вашего сына это было не только несчастьем. Хорошо, что именно он, своими руками, закрывает вам глаза. Мы не любили друг друга, матушка, но я присутствовал при вашем последнем вздохе, как вы присутствовали при моем первом.

XXXII

Марсель позвонил из роскошного отеля в Биаррице, Фред — из кабачка в Лонпоне, и оба выказали не больше волнения, чем выказал бы человек, живущий в пятнадцатом округе, узнав об исчезновении Эйфелевой башни; мадам Дару подоспела как раз вовремя, чтобы подвязать подбородок покойной, а мадам Глэ явилась вслед за мадам Дару, и обе занялись погребальным туалетом; Батист прибежал запыхавшись и помчался за своим мольбертом, чтобы, поставив его возле усопшей, закончить ее портрет; Бландина, чуть бледная, чуть испуганная тем, что ей предстояло спать потом в этой самой комнате, все-таки немедленно вытащила из чемодана фотоаппарат, дабы заснять бабушку на смертном одре; Бертиль методично, холодно отвечала всем: «Мадам Резо скончалась сегодня утром в девять часов», причем ни разу не сказала: «Моя свекровь»; тем не менее она достала вышитые простыни, зажгла обычно не зажигавшиеся канделябры, трижды пересчитала при свидетелях пятьдесят тысяч франков, купюрами по пятьсот,

найденные в сумочке мадам Резо вместе с билетом на самолет; потом, ни у кого не спрашивая, она вложила в руки покойной драгоценные четки с ангелами, которые оказались на дне сумки; Жаннэ держался принужденно; Обэн, прибывший последним, против обыкновения почти не открывал рта; у супругов Биони были потные руки; соседи стояли ссутулившись; пришли также несколько друзей, и среди них Арно Маклсон — он не мог удержаться и процедил с иронией: «Такая исключительная личность! И ее не пощадила смерть!»; Флормонтэн потирал лысину, стоя возле своего коллеги, который должен был подписать разрешение на похороны… Зрительные образы, обряды, слова формальности — все перемешалось. Вокруг того, кто стал недвижим, всегда много суеты; запомнился мне и типичный представитель похоронного бюро классический персонаж лет сорока, в трауре, который он носил словно мундир, гробовщик и торговец памятниками, достаточно опытный, чтобы не показать своего разочарования, когда выяснилось, что семейный склеп находится в Соледо, департаменте Мэн-и-Луара; но зато, после того как был выбран гроб модели 8: светлого дуба, с серебряными ручками и распятием, обитый атласом и обши-

тый кружевами, — он мгновенно ухватился за транспортировку, которая, если «расстояние до места погребения превышает триста километров — таков уж закон, мсье», — требовала наличия второго металлического гроба, запаянного в присутствии полицейского комиссара.

Впрочем, сильнее всего меня поразила не суета вокруг покойницы, не этот пышный и печальный ритуал, не эти освященные временем обряды (единственное, что остается неизменным, до такой степени люди боятся всего, что связано со смертью). Меня не поразила и закостенелая неподвижность мадам Резо, которую в течение двух дней до похорон кропили посетители, взмахивая над ней веточкой букса. Меня не взволновала и церемония запаивания гроба, хотя после того, как покойную осторожно положили в этот ящик, незаметно подсыпали сбоку соль и загнули внутрь кружева, вступил в действие автогенный аппарат: на гроб с лязгом опустили крышку, из трубок с силой вырвались струи горячего воздуха — все это весьма напоминало работу кровельщика, сваривающего листы цинковой крыши. Нет, если уж говорить о том, что меня действительно поразило, так это вид моей внучки через несколько часов после ее рождения. Младенцы

часто рождаются сморщенными, как маленькие старички, и морщины на них разглаживаются только лишь на второй или на третий день. Когда я наклонился над ребенком, я был так поражен, что не мог сдержать удивленного возгласа.

— Да, — сказал Жаннэ, — это меня немного огорчает. Надо же было ей выбрать именно эту восьмую часть крови.

Ничего корсиканского. Ничего от Арбэнов или Резо — пепельно-белокурые волосы, зеленые глаза, выступающий подбородок с ямочкой посредине… Гены Плювиньеков, так ярко выраженные во мне, перескочив через Жаннэ, еще раз доказывали свою живучесть. Моника была уменьшенной копией своей прабабушки, которая, не успев умереть, тут же и воскресла.

Прабабушку в буквальном смысле слова снесли в могилу на третий день, снесли на руках четыре фермера. Фургон уехал накануне: гроб надо было доставить в Соледо и установить под балдахином в центре бокового придела местной церкви. Мы выехали из Гурнэ в шесть часов и как раз вовремя прибыли на площадь, обсаженную липами. Там на солнцепеке стояло около десятка машин, не больше. Погребальный звон рассеял в воздухе вокруг колокольни большую стаю испуганных

галок, но внизу было мало людей, принарядившихся к заупокойной мессе. Слишком хороша была погода: со всех сторон доносилось жужжание молотилок. Подумаешь, Резо: уже многие годы их роль в округе была не настолько велика, чтобы ради них люди отрывались от полевых работ, да еще в самую страдную пору. Нотариус, ждавший нас на паперти, шепнул мне:

— Я имею распоряжения. Мадам Резо оставила мне записку по поводу своих похорон: «Ни цветов, ни венков, ни драпировок, ни похоронных дрог. Короткая месса, носилки и — хоп! — в яму». Простите, но это ее собственное выражение. Она даже пояснила на словах: «Раз уж ты превратился в ничто, пусть все дальнейшее будет по желанию, а не по необходимости». Мадемуазель Саломея не приехала?

Не ответив ему, я вошел в церковь. Какие-то старухи (одна из них в старинном чепце с крыльями), монахини из больницы или из школы, чета Жобо, супруги Гюо, Аржье, мэр, он же виконт, член ЮДР — деголлевской партии, сидящий в ложе владельца замка и почетных гостей; помощник мэра, он же владелец гаража, по своей партийной принадлежности центрист; несколько городских торговцев и два-три фермера с

седыми усами — они стоят, ухватившись рукой за спинки массивных деревянных скамей, — вот и все присутствующие, если не считать двух мальчиков, прислуживающих во время мессы, и астматика кюре в черном облачении. Не успели мы встать на свое место, как зазвонил колокольчик. Я взглянул на витражи — мазня по стеклу еще прошлого века, оплаченная нашей семьей в пору ее величия: святой Иаков, покровитель старших сыновей нескольких поколений нашего рода, стал неузнаваем, до того обезобразили его мальчишки, бросавшие в него камни; но архангел Михаил все так же лихо поражал дракона с крылышками, как у летучей мыши, и с хвостом, обвившим его сапоги. Колокольчик звенел… Мне казалось, что служба идет очень быстро — настолько быстро, что Фред (без жены) явился уже к чтению Евангелия, а Марсель (с женой) к дароприношению. В момент отпущения грехов, когда священник обходил гроб, позвякивая кадилом, стук каблуков-шпилек по плитам заставил обернуться весь клан: слегка пошатываясь, с опухшими глазами, вошла Саломея.

Когда все стали выходить из церкви, берришонка взяла ее под руку, бросив многозначительный взгляд на гроб, который носильщики с лямками

на шее несли по главному проходу. Я слышал, как Саломея шептала: «Я просто без сил, совсем не спала — разница во времени…» Снова раздался колокольный звон, видимо производимый с помощью электричества — вряд ли звонарь мог звонить столь размеренно, — и мадам Резо вновь двинулась по дороге на Берн, по пыльной проселочной дороге, по которой она ходила тысячу раз, возвращаясь после воскресной мессы в «Хвалебное» и лишь изредка останавливаясь у кладбищенских ворот, чтобы посетить могилу своего супруга. Завидев нас, люди выходили на порог домов, некоторые еще с салфеткой вокруг шеи, дожевывая последний кусок. Из окна секретаря, жившего над мэрией, на стене которой болтался отклеившийся голлистский плакат, долетали сообщения о запуске ракеты «Титан III». Мы все шли, как и полагается в подобных случаях, понурив голову, но я чувствовал себя униженным — как, впрочем, чувствовал всю жизнь, — словно на мне были лохмотья. Похороны с изобилием траурного крепа, когда у провожающих заплаканные глаза, а женщин ведут под руку близкие, порой бывают смешны. Но в похоронах без слез есть что-то непереносимое.

От яркого, почти южного солнца все станови-

лось еще суше. В воздухе ни малейшего дуновения, и ни одного барашка в ярко-синем небе цвета пояса Пресвятой девы. Желтая, с беловатыми прожилками, смешанная с кусочками слюды глина, наваленная рядом с другой, еще не засыпанной могилой, казалась буквально обожженной. Красные и потные носильщики быстро на веревках опустили гроб, и мадам Резо очутилась вдруг рядом с мсье Резо для гораздо более долгой совместной жизни, чем предыдущая. Теперь она будет наслаждаться покоем, который редко удается изведать живым, считающим, что на два метра под землей они будут им обеспечены. Присутствующие окропили гроб святой водой, причем фермеры аккуратно чертили в воздухе крест, а горожане делали такой жест, словно отгоняли назойливых мух. «Общество» не явилось (и я знал, кто за это ответствен) — пришли только крестьяне в галстуках на резинке, завязанных вечным узлом, с трудовыми мозолями на руках, которые замечаешь при рукопожатии (я подумал: какая безграничная доброта! Покойница, которая всю жизнь ничего не делала, жила вот этими мозолями, трудом этих самых крестьян). Кюре уже ушел, когда нотариус, замыкавший шествие, перешел от соболезнований к делу:

— Я не приглашаю вас к себе в контору: завещание мадам Резо еще не зарегистрировано. Но я сразу же могу сказать вам, в чем оно состоит. Содержание его неожиданно: мадам Резо назначила главной наследницей мадемуазель Жозефину Форю, именуемую Саломеей, свою сводную внучку.

— Что?! — изумился Фред. — Она лишает нас наследства? Это незаконно.

— Нет, — сказал нотариус. — Поскольку есть три прямых наследника, доля мадемуазель Форю сводится к той части состояния, которой мадам Резо имела право располагать, то есть к одной четвертой. Мадам Резо, впрочем, могла бы просто оставить мадемуазель Саломее эту часть — сумма была бы та же самая. Сделав ее главной наследницей, она, конечно, хотела выразить что-то другое.

— Как же она, наверное, сейчас забавляется, — сказала Соланж. — Здорово она подшутила над вами!

— Надо признаться, — сказал Марсель, — что это похоже на пинок ногой напоследок.

— Да, на пинок в зад, — сказал Фред.

Покраснев, оба злобно смотрели на белую как полотно Саломею.

— Во всяком случае, — сказала она, — я отка-

зываюсь.

— Вы не можете этого сделать, — возразил мэтр Дибон, — и ваши родители не имеют права сделать это за вас — вы ведь несовершеннолетняя.

— Но я юридически дееспособна, — протестовала Саломея.

— Вы можете приобретать, но не имеете права отчуждать. Сейчас как раз дебатируется вопрос о том, чтобы изменить статью семьдесят шестую и предоставить несовершеннолетним, но юридически дееспособным полные гражданские права, однако эта поправка еще не утверждена. Вы являетесь наследницей мадам Резо, угодно вам это или нет; впрочем, только на словах, ибо, поскольку вы не связаны с ней узами родства, вам придется платить большой налог.

— Мы нашли пятьдесят тысяч франков в сумочке мадам Резо, — сказала Бертиль; она чувствовала себя крайне неловко и торопилась этим благородным поступком искупить наследство, оставленное дочери.

— Я буду вам признателен, если вы передадите их мне, — сказал нотариус. — Но боюсь, — продолжал он, обращаясь ко мне, — что мадам Резо собрала эту сумму в ущерб вам. Мне известно это от супругов Жобо: три недели назад, вскоре

после того, как я позвонил вам по поводу утечки воды из водопровода, мадам Резо неожиданно прибыла в «Хвалебное» и продала все, что там оставалось от резных панелей и ценной мебели.

— Это еще нужно доказать, — сказал верный себе Фред.

— Когда вы предполагаете произвести опись имущества? — спросил Марсель.

— Вы ведь продали «Хвалебное» вместе с обстановкой, — уточнил нотариус. — Отныне новый владелец, хоть он и не пользуется своей собственностью, может делать с ней все, что захочет. Для вас важнее всего вскрыть сейф в Парижском национальном банке.

— Я подумал о парижской квартире, — сказал генеральный президент-директор.

— О какой квартире? — спросил нотариус. — В Париже мадам Резо не имела никакой собственности. Она останавливалась там у мадемуазель Форю.

— Это чистая видимость — сказал Фред. — Ясно же, кто платил за квартиру.

— На сей раз, мсье, доказывать придется вам.

— С меня довольно! Надеюсь, ты быстро со всем этим покончишь! — воскликнул вдруг Жаннэ, который приехал только по настоянию Мари,

оставшейся в клинике.

Широкими шагами он пошел в сторону городка. Я попрощался и последовал за ним вместе со всей своей семьей.

Однако необходимо было заехать в «Хвалебное» и выяснить, каков причиненный ущерб.

Повреждения оказались немалыми. Потрескавшиеся потолки, слинявшие, заплесневелые и отклеившиеся обои, вздувшийся паркет — только что отремонтированные комнаты нужно было заново приводить в порядок. Сильно пострадали расписные кессоны первого этажа. В гостиной и столовой были оторваны резные панели и обнажилась старая штукатурка, местами исписанная арифметическими выкладками подрядчиков. Антиквары разорили все: не пощадили ни часовни, ни спальни мамаши, откуда исчезли зеркала, комод, даже стулья — кроме одного. Огромные стенные шкафы тоже были опустошены старьевщиком. Английский шкаф и стол, не представлявшие ценности, старое, засаленное кресло, кровать, печь, набитая пеплом от сожженной бумаги, которая добавила копоти на потолке и стенах, — вот все, что мадам Резо согласилась оставить. Но на каминной полке — без часов и канделябров лежала тетрадь и на

этой тетради — маленькая золотая ручка. Что это — знак уважения? Вызов? Просто забывчивость? Невозможно установить. Я хорошо знал эту ручку; она принадлежала еще моей бабушке, лауреату уж не помню какого конкурса поэзии. О существовании же тетради я не подозревал.

— Любопытно, — заметила Бертиль, — твоя мать в один миг разбазарила все, что защищала долгие годы.

Не слишком вразумительный ответ на ее замечание был рассеян по листам тетради, содержащей наклеенные вырезки из газет, переписанные цитаты, снабженные комментариями или без них, кое-какие личные заметки: те, которые были в начале, сильно отличались от тех, что помещались в конце. Сначала мадам Резо не скупилась на ругань и на двусмысленности. Под фотографией, вырезанной из газеты, стояло: «Хватай-Глотай превратился в Хватай-Болтая!» Цитата «Не каждому удается быть сиротой» превратилась в такое изречение: «Не каждому удается быть птенцом орлана» (или совы, потому что на местном диалекте эти два слова путаются, так же как и у Руссо, и у Бальзака). Затем уровень сентенций становился выше, о чем свидетельствовала, например, такая псевдошарада: «Мой

первенец — это мой первенец; мой второй сын — это мой второй; мой третий сын — это, что ни говори, мой третий; а мое целое — ноль!» Понравилось мне также: «Бог создал людей: они его за это хорошо отблагодарили» — со следующими комментариями: «С матерями такое тоже случается». Еще больше мне понравилась следующая цитата неизвестного происхождения: «Разве курицу ценят за то, что она несет яйца? Нет, ведь она просто несет яйца, которые можно сварить всмятку. Чтобы нас растрогать, курица должна еще кудахтать». Это изречение сопровождалось признанием: «Не все куры на это способны...» Напротив, мне совсем не понравилось следующее: «Получив в собственность гектар, человек становится буржуа — здорово же я над ним подшучу». Не понравились и некоторые хвастливые изречения, вроде: «Наше поколение последнее, которое выстояло». Но дальше тон изречений резко менялся, и дело доходило до такой вырезки: «Семья, только о ней и говорят! Они не поняли, что, основанная на борьбе поколений, на прихотливой фантазии жизни и смерти, она — по самой сути своей — обречена на крах». Мадам Резо была на пути к разочарованию: «Хранительницей чего я здесь была?» И наконец, ее поглотило

великое открытие: «Когда я ее увидела, у меня было такое чувство, словно я родила ребенка глазами». Многое пропускаю, но не могу пройти мимо такого признания: «Я словно кочерыжка, приправленная уксусом: как трудно моему сердцу быть нежным!» И мимо последней заметки, написанной уже после бегства Саломеи: «Вот как меня любят! Вполне возможно, что на моих похоронах у кого-нибудь и будут влажные щеки — если пойдет дождь».

Дождя не было.

Я думал об этом, спускаясь в столовую, куда чуть раньше прошла Бертиль, чтобы собрать чего-нибудь поесть. Я застал их всех, как на семейном совете, за круглым столом (слишком большим, чтобы на него нашелся покупатель); они сидели на разрозненных хромоногих стульях, принесенных из разных комнат. Ждали меня. Когда я вошел, Жаннэ горячо убеждал свою сестру отказаться от квартиры на авеню Шуази. Я слышал только последние слова его речи:

— Хорошо же мы выглядим! Нечего сказать!

И ответ Саломеи:

— К сожалению, мне нужна эта квартира. Мы уехали, потому что не могли жить втроем и надо было устроиться подальше от бабули. Я просто

не знаю, что бы мы стали делать, если бы она свалилась нам на голову в Монреале. Теперь мы возвращаемся: Гонзаго продолжает занятия медициной, я буду работать.

— Ты собираешься замуж за него? — спросила Бертиль.

— Нет, — ответила Саломея. — Не вижу в этом необходимости.

Свободная, но благоразумная девушка, расчетливая хозяйка, этакий котеночек, она смотрела на нас широко раскрытыми глазами, учащенно дыша, и, казалось, никогда еще не была такой хорошенькой. Бертиль постаралась скрыть разочарование.

— По крайней мере, — сказала она, — постарайся забыть наветы мадам Резо.

— Это деталь, — сказал Жаннэ. — Главное же — никому не следовало сюда возвращаться. Вы ведь здесь не останетесь?

— Я, конечно, зря уговаривала отца выкупить «Хвалебное», — сказала Бертиль.

Я обвел их взглядом и понял: они уже обсудили этот вопрос. Жаннэ по-прежнему был против, Бландина скучала в «Хвалебном», Бертиль не прощала, Саломея знала, что она здесь служит темой бесконечных сплетен, и, если Обэн грима-

сой выражал сожаление, оно не нашло во мне ни малейшей поддержки. Я все больше и больше злился на себя. Выкуп «Хвалебного» — это был возврат к кому? Или к чему? Ни к чему. Быть может, я и поддался иллюзиям Бертиль, но, кроме того, я уступил давлению наименее симпатичного существа из тех, что живут во мне: отщепенца, готового забыть о своем отречении во имя соприкосновения со своим генеалогическим древом, тоски по родным местам. Во имя сложной игры противоречивых чувств, с которыми — при всем старании — я не мог совладать до конца; как бы мало ни оставалось наследственной земли, как бы ни восставали против нее наследники, тот, кто с детства ходил по глине, хорошо знает, до чего она липнет к ногам.

Я признался в этом. Я добавил, что все равно мы не сможем заново обставить это огромное здание, как не сможем вновь произвести ремонт; что, кроме того, хотя мне впредь больше не придется платить процентов, я должен буду выплачивать долю, соответствующую стоимости «Хвалебного», и моей части наследства на это не хватит. В самом деле, что останется от состояния мадам Резо, которое и прежде было невелико, а теперь сильно растаяло от ее последних расходов? А ведь

из него еще нужно вычесть сумму, завещанную Саломее, — сумму, которая практически целиком уйдет на налоги!

— Короче, чтобы выйти из положения, надо снова продать «Хвалебное»? — спросила Бертиль.

Голосования не было: мы удовольствовались молчаливым согласием всех присутствующих. Жаннэ сразу же уехал вместе с Саломеей, которая не находила себе места. Я ни в чем ее не упрекал — разве только в том, что у нее не хватило душевного тепла для той, которая предпочла ее всем. А может быть, она просто не смела его проявить? Очень скоро я заметил, что другие сделали такие же подсчеты, как и я, или же по-своему истолковали восклицание Жаннэ при выходе с кладбища. Со стороны фермы мелкими шажками приближался нотариус в сопровождении Феликса Жобо и другого крестьянина. Они указывали пальцами на некоторые постройки, тщательно вымеряли шагами двор, совещались — должно быть, проводили линию раздела между парком и фермой. Когда я увидел, что они направляются к лугу, я решил присоединиться к ним. При моем приближении ворона, сидевшая на одном из кольев изгороди, улетела, раскрыв клюв и прокаркав тревогу, и все вороны в округе после-

довали ее примеру… Но трое мужчин вежливо подошли ко мне.

XXIII

Ну, вот и готово: мы уходим, не оставив после себя настоящей смены. И дело тут вовсе не в нас лично — мы исчезаем потому, что повсеместно выкорчевываются старые пни землевладения. Даже Марсель и тот не избежал общей участи: ему пришлось — я только сейчас узнал об этом — продать фермы арендаторам, которые сослались на право давности. Пользуясь этим правом, Жобо, уже обратившийся в Банк кредитования сельского хозяйства, тоже покупает землю, которую арендовал до сих пор. Его двоюродный брат Поль потребовал два обособленных поля вдоль дороги на Женэ по той причине, что они врезались в его участок. Долго препирались о границах, ибо земли, относящиеся к ферме и к замку, перемежаются между собой, некоторые строения, как, например, большой сарай (амбар с одной стороны, гараж — с другой), оказываются разделенными на две части. Долго спорили и о ценах: Жобо настаивал на том, что эти земли отнесены ко второй категории и что придется платить большие налоги (поскольку при разделе

земельных участков всегда находится множество поводов для судебных придирок). А потом — по рукам, и мы направились к Марте выпить по стакану вина. Себе Марта налила только на донышко, чтобы чокнуться, но она была как пьяная. Она стояла у стены, у своей собственной стены, которая теперь принадлежала ей, дочери Аржье (и, по правде сказать, в гораздо большей степени рабыни своего мужа, детей и скотины, нежели землевладелицы, но до сего дня она не имела звания собственника, которое обеспечивает ей теперь добровольную кабалу). Она гладила рукой облупившуюся штукатурку и бормотала:

— Да разве я могла когда-нибудь поверить…

Вне себя от радости, она, конечно, строго осуждала меня. Продать свое добро! А я думал о первом Резо, обутом в сабо, который, покупая участок, и помыслить не мог, что его скромная хижина при Капете увеличится вдвое, при Баррасе втрое, что при Баденге к ней пристроят башенки и павильоны и что в конце концов она будет разрушена киркой строительных рабочих. Ибо об этом как раз и шла речь.

— Что касается «Хвалебного», — говорил мэтр Дибон, — то скажем прямо: только кто-либо из Резо способен был бы пойти на такое безумие и

отремонтировать тридцать две комнаты. Дом чересчур велик, чересчур стар и чересчур уродлив, чтобы его стоило реставрировать. Но у меня есть торговец строительными материалами, бывшими в употреблении. Он намерен оставить только одно крыло дома, все же остальное разрушить, а камень, балки и камины потом использовать. — Он вздохнул, настроившись на философский лад: — За десять лет я разделил на куски тридцать имений — уходит целая эпоха!

Плата, причитающаяся ему за составление актов, должна пролить немного целительного бальзама на эту социальную рану. Что до меня, то я думал: «Браво! Сотрем этот дом с лица земли!» Я, несомненно, буду жалеть о нем: где бы я ни был, я буду чувствовать себя в изгнании. Но это для меня не ново, и, чтобы не думать больше об этом, я предпочитаю своими глазами увидеть, как рухнет эта «груда камней», как разделятся на куски эти луга и пустоши в пользу тех, кто напоил их своим потом. Вот почему я подписал соглашение и уступил маленькую ферму Феликсу Жобо. Подписал и два других — по ним оба поля переходили к его двоюродному брату. В отношении же всего остального я дал доверенность мэтру Дибону. Выкуп, снова продажа — замечательная

операция: считая налоги на перемену владельца, я потерял пусть это будет мне хорошим уроком — около одной четверти общей стоимости имения. В конце концов я вернулся в дом и сказал Обэну:

— Позвони еще раз в колокол. Мы уезжаем.

Мой сын звонит, широко раскачивая шнур. Я сниму этот колокол и увезу с собой. Он отмечал время своим характерным звоном, перебиваемым нашими криками и криками птиц, которые скоро уже не смогут вить гнезда под балками крыши. Время будет течь дальше, и без колокола, и без нас. Бертиль и Бландина составляют опись имущества, отбирая то, что еще стоит отсюда вывезти. Но я никогда особенно не дорожил ни этим старым домом, ни его обстановкой. В последний раз я прогуливаюсь по колючей, как щетка, траве, не успевшей вырасти после покоса; в ней стрекочут сотни кузнечиков. Погода хмурится: этот край подобен губке — он не знает затяжной жары, и зелень здесь жадно впитывает обильные западные ливни. В Омэ отражаются деревья: на них танцует белка, а рыбы словно плавают меж ветвей и парят среди облаков. В воздухе стоит резкий запах овечьего пота: на другом берегу пасется стадо овец; ягнята блеют дискантом, старые овцы — басом; собака согнала их в такую тесную

кучу, что кажется, будто они щиплют не траву, а шерсть на спине друг у друга.

Спустившись к плотине, поднявшись с другой стороны через лесок, где уже сгущается сумрак, успею ли я еще раз пройти по фруктовому саду, несмотря на эту первую молнию, зигзагом прорезавшую широкое серое облако? Нет, довольно, пожалуй, пора возвращаться. Я знаю: это мой родной край. Каким бы будничным он ни казался, чего бы мы ни натерпелись в нем от своих родственников — место, где мы открыли глаза на мир, незаменимо. Покинуть его — значит разорвать узы со своим детством, а это становится для нас все труднее и труднее, ибо мы стареем и нам уже не под силу начинать сызнова. Знаю я и другое: я глубоко огорчен неудачей. Я не слишком верил в удачу, я верил в нее недолго; но если вернуться к тем, кто живет во мне, то надо сказать, что если во мне и упорствовал фанфарон, щеголявший своим положением, то у него, у этого фанфарона, всегда был обездоленный двойник, который не мог примириться со своей участью. Это был не отпрыск семьи Резо — а если он им и был, то в самой малой степени, — это был просто сын, в свою очередь ставший отцом: сначала отцом сына от первого брака, потом отцом до-

чери и сына от второго, затем отчимом, свекром — словом, отцом, который всегда думал, что вознагражден за прошлое своими собственными детьми, но в какой-то момент стал сомневаться, не было ли все наоборот. Когда через всю жизнь проносишь тайное убеждение, что ты неудачник, ты никогда не упустишь случая опровергнуть это. Бывают поздние призвания… Доказательство: гром грянул не прямо надо мной, он грянул где-то совсем близко.

Вот и Обэн: он торопится мне навстречу и, поравнявшись со мной, поворачивается и идет рядом, в ногу. Уже несколько минут гремит гром, но дождя нет, хотя поднимается ветер, несущий запах клевера и пчел, которые торопятся обратно в свой улей. Я возвращаюсь как раз вовремя, чтобы помочь Бертиль погрузить чемоданы в машину. Сейчас мы поедем, и в эту минуту — с опозданием на пять часов, матушка! — хлынул дождь.